

УДК 821.161.1-3Рогов
ББК (84(2Рос=Рус)6-44
Р59

www.web-bib.ru

**Электронное собрание сочинений
Валерия Рогова**

Полное (на сегодня) собрание сочинений В. Рогова находится в процессе редподготовки.

Настоящая книга повторяет одноимённое издание 2003 г., вышедшее всего 200-ми экземплярами за счёт автора.

ISBN 5-901746-01-5

© В. Рогов
© Издательство «Библиотека
профессиональных писателей

Валерий Рогов

ПРЕТЕНДЕНТ НА ЦАРСТВО

Роман

**Москва
Издательство «БПП»
2008**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Глава первая | 9 |
| ПИСТОЛЕТ И ИКОНА | 9 |
| Глава вторая..... | 25 |
| СИЯТЕЛЬНЫЙ НЕСЧАСТЛИВЕЦ | 25 |
| Глава третья..... | 32 |
| ПЛАВАНИЕ ПО РОССИИ, ИЛИ ПРИТЧА О ВТОРОЙ ЖЕНИТЬБЕ | 32 |
| Глава четвёртая..... | 43 |
| БЫЛ МАЙ, И ЯБЛОНИ ЦВЕЛИ... | 43 |
| Глава пятая | 53 |
| НА ТРОИЦКОМ ВЗГОРЬЕ | 53 |
| Глава шестая | 66 |
| НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ | 66 |
| Глава седьмая | 79 |
| ПАЛОМНИЧЕСТВО В СТАРУЮ РЯЗАНЬ | 79 |
| Глава восьмая | 87 |
| УТИНАЯ ОХОТА | 87 |
| Глава девятая..... | 96 |
| ВЫКРУТАСЫ ГРАФА | 96 |
| Глава десятая | 108 |
| В ОДИНОКОМ ЛУГОВОМ ПРОСТОРЕ... | 108 |
| Глава одиннадцатая..... | 115 |
| НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ | 115 |
| Глава двенадцатая | 131 |
| НАДРУГАТЕЛЬСТВО | 131 |
| Глава тринадцатая..... | 138 |
| ПРЕТЕНДЕНТ НА ЦАРСТВО | 138 |
| Глава четырнадцатая..... | 153 |
| РАСПРАВА | 153 |
| Глава пятнадцатая..... | 166 |
| СВЕТ И ВО ТЬМЕ СВЕТИТ | 166 |

АННОТАЦИЯ

Роман известного русского прозаика Валерия Рогова «Претендент на царство» изображает Россию на рубеже веков — в так называемый *переходный период*, поименованный также *либеральной революцией*. Отказавшись напрочь от так называемого *развитого социализма*, Россия под неотступным давлением Запада ввергла себя в рыночную экономику, а проще говоря, в анархический капитализм, — и, как убеждён автор, ужаснулась содеянному.

Валерий Рогов лауреат многих литературных премий, в последнее десятилетие самых заметных в патриотических кругах — Бунинской, Булгаковской, Пушкинской.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
БИБЛИОТЕКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

www.web-bib.ru

«Я могу многое ненавидеть в России и в русском народе, но и многое любить, чтить её святость. Но чтобы иностранцы там господствовали, нет, этого не потерпел бы!

Только один Господь ведает меру неизречённой красоты русской души.

Россия в каждом из нас! Любить её — э т о н р а в с т в е н н о».

Иван Бунин

Из дневников, 1940-е годы.

ПРЕТЕНДЕНТ НА ЦАРСТВО
роман-предупреждение

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня,
И как алтарь без божества.

А.С. Пушкин
Из черновой тетради, 1830 г.

Глава первая

ПИСТОЛЕТ И ИКОНА

I

В самом истоке десятилетия, последнего в двадцатом веке, в провинциально заторможенном Городец Мещерском нежданно, ни с того, ни с сего пооткрывались лавки древностей. Вероятно, сим неосознанным, но интуитивным действием местные богатеи, долго таившиеся в подполье, приветствовали столичную либерально-демократическую власть, провозгласившую возврат к капитализму.

Как бы там ни было, но гонимых до моды провинциальных обывателей соблазняли приобретать старинные иконы, усадебный фарфор, книги в сафьяновых переплетах, но прежде всего подвигали к продаже когда-то утаенных раритетов. Чего только в тот короткий период — в 92-м, 93-м и отчасти 94-м годах — не удавалось обнаружить в этих наскоро оборудованных антикварных лабазах особенно в летний сезон, когда съезжалась столичная публика. Однако ещё больше диковинок таилось в тесных домашних закромах новоявленных «антикваров», куда допускались лишь проверенные, надёжные покупатели. Но и в «салонах» порой выставлялись уникальные вещи, для того, чтобы показать солидность предприятия, а главное, чтобы выискать денежных покупателей, однако не очень сведущих в антикварных тонкостях.

Грешен, наезжая в Городец Мещерский, я сам частенько заглядывал в эти любопытные заведения и обязательно в лавку к бывшему комбату, майору Базлыкову, к которому испытывал симпатию, впрочем, как и он ко мне.

Однажды в конце января тысяча девятьсот девяносто четвёртого года, вырвавшись из притаившийся, насупленной Москвы, раздавленной кровавым расстрелом Дома Советов, в свой деревенский дом в Тульме, чтобы отдышаться и опомниться, я, естественно, навестил Городец Мещерский и, конечно, побывал в

базлыковской лавке древностей. Покупать ничего не собирался, хотелось просто взглянуть на «товар» в глухое межсезонье, когда Городец Мещерский как бы уменьшается, кажется забытым и заброшенным. Но всё-таки таил надежду, что именно в такое унылое, полусонное время мне и удастся приобрести за «недорого» неожиданную букинистическую книгу.

Книг в салоне не оказалось: кто же после грабительской денежной реформы, устроенной либерал-радикалами, да, кто же из объегоренных и сразу обнищавших провинциалов станет тратить на ветхие фолианты? Но два лота, если пользоваться антикварной терминологией, из хаотического многообразия стрингов — декоративно-прикладного, фарфорового, живописного, иконного и даже мебельного — особенно поражали: икона Христа с Чашей в потемнелом серебряном окладе и блестящий, совершенно новый кремневый пистолет начала XIX века.

Пистолет лежал в футляре, обтянутом тёмно-синим бархатом, с красным шёлком изнутри. На серебряном ромбе было выгравировано: «John Ramsay Vosgreen, esq.». То есть: Джон Рамсэй Возгрин, эсквайр. Рядом с пистолетом хозяин, Базлыков Николай Рустемович, поставил бюст Пушкина бисквитного фарфора, прислонив к нему картонку с нарочитой, неуместной фразой, выведенной чёрным фломастером: *«Из такого же пистолета стрелял Дантес в А.С. Пушкина»*.

— И что, пистолет и поныне стреляет? — с мрачной иронией поинтересовался я.

— Ещё как! — воскликнул Базлыков весело, дружелюбно улыбаясь. — Если желаете, то можно попробовать. Только, чтобы пострелять, придется выехать за город.

— Нет, не желаю, — угрюмо отвечал я. — Цена, наверное, не малая?

— Ещё бы! Но пистолет того стоит. Во-первых, именной. Принадлежал какому-то англичанину. А во-вторых, абсолютно новый. Представляете, я лично первым из него стрелял!

— Где же он так сохранился?

Базлыков несколько замялся:

— В общем, ко мне он попал из бывшей голицынской усадьбы. Знаете? Село Гольцы, в сторону Старой Рязани. Не бывали там?

— Нет, не приходилось.

— Весь парадокс в том, что он действительно новый. Загадочно, миновало столько лет, почти двести, а никто из него ни разу не выстрелил, хотя имелись и пули, и порох, и пыжи. Конечно, пришлось изготовить и сотню новых. Вообще-то, он быстро уйдёт. Сейчас приходится всё распродавать, а салон закрыть, — добавил он уныло.

— Отчего же?

— Э-э, не спрашивайте...

В этот момент двери шумно распахнулись и в лавку древностей ввалились трое из тех, кого быстро окрестили «новыми русскими», а иных — «крутыми». Впереди подвигался животастый тип — огромный, крутоплечий, с хамоватой ухмылкой на толстом багровом лице. По такой ухмылочке сразу и не поймёшь: не то человек в весёлом расположении духа, не то настроен агрессивно. Одет он был в чёрное кожаное пальто до пят, а голову украшал купеческий картуз «а ля Жириновский», из-под которого надменно щурились студенисто-серые, холодноватые глаза. Несомненно, он представлял из себя важную персону — туза! — потому что за ним торчали два телохранителя: один длинный, до двух метров, а другой — крепыш среднего роста, сажень в плечах, большеголовый и безшей, как кабан, подобно тому с тупым, злым поглядом. Впрочем, длинный отвращал больше: маленькая костистая головка, поднятая чересчур высоко, с узким острым подбородком, так далеко выдвинутым вперёд, что верхняя губа едва прикрывала нижнюю челюсть; тёмными впадинами под низким лобиком, откуда беспокойно и ядовито, подобно змеиному жалу, шныряли глазки; в общем, уродливая физия, на которую и смотреть не хотелось, однако она притягивала, и именно своей патологией, — в ней угадывались признаки насильника и убийцы.

С появлением этих троих Базлыков как-то сразу увял, ссутулился; его по-спортивному подтянутая фигура будто сжалась; на красивое, по-мужски мужественное лицо легла унылая, почти смертельная серость.

Туз рванул в карьер:

— Ну где тут у тебя пистоль Дантеса? Ага, вижу! Значит, гришь, стреляет? Заряжай! — приказывал безапелляционно.

— Семён Иванович, — развёл руками Базлыков, — здесь нельзя.

Но тот не внял.

— Я, слышь, хоть и не из уголовного розыска, но отвечай: откуда взял? И попробуй соврать мне! — погрозил коротким пальцем.

— Семён Иванович, да разве я спрашиваю: кто, да что, да откуда? Мне приносят — я покупаю. Привожу в порядок — продаю.

— Слушай, Базлык, штырь ты еловый, мозги мне не пудри! Понял? Не люблю! Сам знаешь, за оружие — статья. Где разрешение? А ну, бляха-муха, показывай!

— Но Семён Иванович, — несвойственно ему заискивал Базлыков, обычно независимый и достойный, со многими клиентами держащийся даже свысока, — это же антиквариат. Я, ей-богу, не подумал, что необходимо разрешение.

— Ладно, давай заряжай! — прикрикнул настырный Семён Иванович. — Счас стрельнём! Как тот француз. Дантес, гришь? В этого самого, в нашего Пушкина! — И грохочущее захохотал, обернувшись к своим охранникам. Те механически растянули резиновые улыбки, однако и междометия не вымолвили.

Антиквар взволновался:

— Семён Иванович, умоляю, тут же нельзя!

А тот рассердился:

— Заряжай, грю, едрёна в корень! И помалкивай, а то хуже будет. Понял?

— Ах, Семён Иванович, Семён Иванович, — покорно вздыхал Базлыков, но властный пришелец довольно посмеивался, переглядываясь со своими бультерьерами.

Меня же в лавке будто не было. Но я догадывался, что представление устраивается именно для меня, потому что ловил скользкие, презрительные взгляды, чувствовал, каким ничтожеством он хотел меня выставить. Но я не уходил из солидарности с Базлыковым, хотя и для меня всё могло плачевно кончиться. Только этого мне не хватало после расстрельной Москвы...

— Значит так, за Дантеса я буду. За убивцу, хе-хе... По твоему предписанию, Базлык, стрельну. В самого Пушкина. Ну и придумал, подлец, а? Пистоль Дантеса, хе-хе... — потешался, не-

трезво покачиваясь, громадно круглый, как стоведерная бочка, Семён Иванович.

Дрожащими руками Базлыков засыпал в дуло порох, вставил пыж, загнал пулю и с трагически-покорным видом протянул пистолет «дуэлянту», успев, правда, униженно попросить:

— Отложите, пожалуйста, мой переезд на недельку, а?

— Погодь, потом потолкуем. Вот стрельну, понял? Ну, на скольких шагах сходились? На десяти? — обращался он к антиквару, но вдруг подозрительно-тупо уставился на меня.

— Неужели вы это сделаете? — произнёс я, смотря на него осуждающе.

— А этот откуда взялся? Кто таков? Что, тоже на пистоль глаз положил? — с надрывом, как урка, выкрикнул он, подвигаясь ко мне вплотную. — Ты, чё, учить меня вздумал? А ну становись вместо гения!

Он сердился по-настоящему, более того, тыкал пистолет мне в грудь.

— Семён Иваныч, Семён Иваныч! — вскричал Базлыков в испуге. Он выскочил из-за прилавка, закрывая меня собой. — Опустите, пожалуйста, пистолет, так нельзя!

— Нет! — рявкнул распоясавшийся дуэлом. — С-счас продырявлю вшивого интилихента. Пусть извиняется!

— За что? — мрачно поинтересовался я.

— За оскорбление! — объявил тот.

— Не возражайте, — шептал мой защитник. — Он невменяем. Умоляю вас! Ему всё сойдёт с рук. Не связывайтесь!

Я грустно подумал, стоило ли срывать из столицы от взбесившихся верхов, чтобы тут, в полусонном Городце Мещерском, нарваться на вздорного хама. О, Господи, воистину нет нигде покоя в пошатнувшемся Отечестве...

Базлыков громко произнёс:

— Семён Иваныч, отсчитывайте десять шагов. Десять! Десять! — повторял он, увлекая меня в дальний угол салона.

Доморощенный дуэлянт не стал настаивать на моих извинениях, а принялся отмерять шаги, но запутался в полах пальто, зашатался, поводя пистолетом то на нас, то на своих охранников, которые резво отскочили в противоположный угол, — возникли неприятные, даже страшные мгновения.

Видимо, сам стрелок осознал опасность, дошло до него, что потеха может кончиться плохо, а потому вывернулся, отшатнулся назад и, падая на спину — медленно, как грузный мешок, вскинул пистолет к потолку и, когда грохнулся, прогремел жутко оглушительный выстрел. Снежно посыпалась белая пыль с серым крошевом штукатурки.

Сдрейфивший самодур лежал на спине опрокинутым носорогом, беспомощно поводил испуганными глазами; в стороне сверкал пистолет, из дула которого струился дымок; картуз Жириновского откатился к дверям, обнажив розовую лысину с рыжим пушком, обильно припудренную потолочной пудрой. Впрочем, и его багровая личина, и черная кожанка так же снежно белели. Он неуклюже перевалился набок, встал на четвереньки, и только тогда растерявшиеся охранники подхватили его под руки и подняли. Он стоял смиренно, как нашкодивший школьник, сумеречно насупленный, протрезвевший, а вокруг него суетились два заботливых холая, неумело отряхивая носовыми платками потолочную порошу.

Базлыков поднял пистолет и, вернувшись за прилавок, тщательно протёр замшевой тряпичкой, положил в футляр, остававшийся на стеклянной витрине.

Хамовитого пришельца будто подменили: теперь это был грозный босс, внутренне, видимо, ещё более разъяренный, чем до выстрела.

— Сколько? — бросил он Базлыкову.

— Пятьсот баксов, Семён Иванович. Поверьте, истинная цена.

— Сто хватит, — грубо определил тот.

— Да что вы, Се...

— Молчи, Базлык, штырь ты хреновый... Хуже будет!

— Ну, хотя бы триста.

— Я сказал: сто, — жёстко утвердил тот.

Он достал из толстого бумажника зелёную купюру и небрежно скинул на стекло витрины как игральную карту. Потом поднял налитые кровью глаза на меня: смотрел мрачно и враждебно, но ничего не произнёс, только злобно приказал антиквару:

— Пушкина тоже заверни. Я с ним в другом месте постреляюсь.

II

Владелец лавки древностей бывший майор, комбат Базлыков выглядел крайне подавленным. Он молча запер входную дверь, перевернул дощечку в оконной витрине: «открыто» теперь смотрело вовнутрь и предназначено было лишь для меня. Я понимал, что больше всего ему не хотелось бы остаться одному.

Однажды в минуты откровенности Базлыков признался, что после Афганистана служил в Казахстане, и именно там его подло выкинули из армии. А должен был вот-вот получить очередное звание, подполковника, и возглавить полк, но в его мотострелковом батальоне, лучшем в дивизии, случилось ЧП: дезертировали двенадцать казахов. Причем открыто, в духе времени — их родной Казахстан превратился в независимое государство, — и те поспешили домой! В суетливой неразберихе конца тысяча девятьсот девяносто первого года с Базлыковым поступили стремительно и жестоко — выгнали, не дав немного дослужить до полной пенсии. Тогда же дивизию передислоцировали из Казахстана в Россию, а казармы и военный городок перешли к назарбаевцам. Ему не оставалось ничего другого, как вернуться с семьей в Городец Мещерский, к матери...

Базлыков предложил выпить. Достал початую бутылку водки, вскрытую банку шпрот, кусок чёрного чёрствого хлеба. Я смирился с тем, что придётся послушать «за жисть», внимать о всех наших давних и недавних неурядицах. Однако надеялся, что в разговоре возникнет пауза и удастся выяснить хотя бы кое-что о старых книгах, моём, пожалуй, единственном увлечении, — ведь не могли же они все до одной куда-то исчезнуть. После враждебной Москвы с прокурорскими нападками у меня самого на душе было сумеречно, и лишь вдохновляющий книжный интерес в навалившейся на всех нас беспросветности мерцал оранжевым лепестком свечечки, успокаивая и согревая.

Бывший комбат, дважды раненый в Афганистане, орденоносец, честолюбивый служака, а ныне скупщик древностей (он, по его словам, каждую неделю до тысячи километров наматывает на своем «жигулёнке»), оказался в новом деле далеко не профаном, а человеком знающим, кроме того, увлеченным и даже начитанным. Выяснилось, что с детства хорошо рисовал, вырезал из всех

журналов репродукции картин, наклеивал в альбомы, и собралось их у него «за двадцать — целая галерея!» Конечно, мечтал стать художником, безусловно, знаменитым, но мать, ранняя вдова, слёзно убеждала быть офицером, как отец, и прежде всего потому, что материально армейская служба — занятие надёжное. Он ей подчинился и, наверное, именно тогда «что-то треснуло» между ними. Он не говорил, что не любит мать, но, видимо, отношения у них были непростые.

Впрочем, разговор, а точнее монолог Базлыкова, больше касался не его прошлого, не сложностей с матерью, у которой ему с женой и двумя детьми приходилось ютиться в покосившемся доме (на строительство двухэтажного особняка, где у каждого будет своя комната, денег пока не набралось); и не антикварного бизнеса с удачными и неудачными покупками-продажами, а того, что уже завтра, а, может быть, и сегодня ему придётся «упасть на колени» перед вздорным Семёном Ивановичем, просить не разглашать историю с пистолетом, чтобы не привлечь внимание властей, но вряд ли тот откажет себе в удовольствии покуражиться над ним — «отставным прыщём в погонах».

Базлыков, хмелея, всё больше откровенничал. Завтра, говорил, здесь появится главная фигура, господин Ордыбьев, бывший райкомовский секретарь, а ныне — всесильный директор ликероводочного завода. Он продиктует непреложные условия и даст указания, как оформлять фирменный водочный магазин под громким названием «Суверен», — место-то на главной улице завидное!

Новый водочный конвейер, приобретенный в Словакии, уже месяц, как пущен; на днях словацкие монтажники уедут на родину, и именно для них, оказывается, Базлыков устроил это глупое шоу с «пистолетом Дантеса», надеясь сорвать хороший куш, а также продать икону в серебряном окладе, вернее, сам оклад, потому что им, католикам, православная «доска» не к чему; и сделать это всё для того, чтобы полностью отдалиться строительству долгожданного собственного дома. Однако выяснилось, что сам он давно «на мушке», и никуда ему не деться от Ордыбьева, а потому «лучше сдаться», чем быть приконченным, «как собака».

Мне хотелось задать ему несколько вопросов, но понял, что не следует вникать в подковерные разборки, в ту прикрытую от

глаз людских мафиозную жизнь, аргументы в которой одни... вот именно — pistolетные! Понял и то, что мои книжные мечты эфемерны; об этом упомянул и Базлыков, недавно удачно спустивший букинистику заезжим коробейникам из Москвы.

Вздыхал, кручинился: мол, была бы у него хоть неделя, то успел бы и всё остальное спустить, освободиться вчистую, и уж никогда больше не браться в одиночку за такое завлекательное, однако очень рискованное дело.

Особо он негодовал на *важную персону*, на Семёна Силкина, обзывая того по-всякому, придумывая самые нелестные, просто даже нелепые клички, вроде «бензиновый держиморда» или «бензовоз с дерьмом». В них, конечно, чувствовалась чрезмерная эмоция, но по существу мало что разъясняющая. Я попытался кое-что узнать:

— А кто, собственно, он такой этот Семён Иванович?

— Деньги лопатой гребёт! — вскричал в обидчивой ярости Базлыков. — А ведь кем был? Никем! Вроде прапора в армии. Доставалой, толкачём! В общем, хозяйственником, хотя и ловким. А потом райкомовским прихвостнем! Завхозом! А теперь, видите ли, бензиновый король! При нём всегда тугая пачка зелёных! Ещё до ГКЧП* Ордыбьев сунул этого деятеля на нефтебазу. Заранее готовились! А теперь на автозаправках шланги свёрнуты, а силкинские бензовозы повсюду на дорогах торчат. Представляете, сколько гребут, гады?!

Базлыков просто кипел от возмущения:

* Г К Ч П — Государственный Комитет по Чрезвычайному положению. Создан в Москве 19 августа 1991 года с отстранением от должности президента СССР М.С. Горбачёва, находившегося в Форосе (Крым). Появление ГКЧП спровоцировало государственный переворот, который возглавил Б.Н. Ельцин.

К власти в стране пришли прозападные, антикоммунистические силы, поименовавшие себя *демократами*, а переворот — *либеральной революцией*. В декабре того же года был разрушен Советский Союз, и в стране начались смутные времена.

Спустя десять лет представляется, что происходившие и происходящие события — сюжет одного и того же сценария, который пишет масонская *мировая закулиса*. — Авт.

— Как были при власти, так и остаются. Только в бизнесмены перекарасились! Первый секретарь, так тот сделался директором мясокомбината, Ордыбьев — ликёро-водочного, а третий — овчино-шубной фабрики. Вожди, коммунаки проклятые,! А те, что помельче, райкомовские прихвостни, как этот Силкин, тоже не в накладе. Будто заранее знали, — возмущался затравленный антиквар.

— Неужто знали? — спросил я.

— А то! Случайного ничего не бывает. Уж поверьте мне.

Действительно, странно всё это было — непредвиденное, стремительное перевоплощение городецких верхов, к тому же совершенно необъяснимое. Долго не мог я поверить, что тотальный крах КПСС, позорное, трусливое бегство партийных функционеров из райкомов, обкомов и самого центрального комитета партии совершалось по указанию Политбюро, хотя и секретному. Но ведь свершилось! На местах, особенно в глубинке, в том же Городце Мещерском, накануне ГКЧП и последовавшей заварухи буднично и совершенно открыто три райкомовских секретаря, три городских головы, уселись в три директорских кресла, а райком просто заперли на ключ. Ни бурных демократических митингов, ни народного бунта они не предвидели, потому что ни в городе, ни, тем более, в районе не завелось ещё новой породы смутьянов. Да и никто не догадывался, зачем это нужно ломать хребет государственной власти?

Но т а к было...

А когда свершилось, то начали думать (опять же вековая отечественная традиция: задним умом!) и долго, ох, как долго ещё будут думать-гадать: что же всё-таки произошло? Зачем и для чего? А когда сообразят, то будет поздно: дорога назад зарастёт бурьяном, да если обнаружат, то никто не захочет по ней возвращаться.

Ордыбьева я немного знал. Он когда-то был местным идеологом. Лощенный, с двумя дипломами, к тому же окончивший Академию общественных наук. Районный масштаб казался для него мелковатым, а потому его появление в Городце Мещерском выглядело загадочным. Правда, во всё посвящённый, легкокрылый рязанский поэт Вячеслав Счастливов, мой давний приятель, с убеждённой, не допускающей возражений, доказывал: «Да

пойми ты наконец, он — татарин! Та-та-рин. Здесь много татарских поселений. Когда-то Касимовское царство существовало. Чего ж тут непонятного?».

Но мне всё равно было непонятно, тем более, пришлось с Ордыбьевым однажды поспорить, и выяснилось, что он очень знающий и размышляющий человек. Но это только доказывало загадочность его появления в Городце Мещерском.

Ордыбьев не был мне симпатичен. Отпугивало нечто мистическое в его внешности, какая-то притаённая осторожность в манере держаться. Кроме того, удивляло, что в нём полностью отсутствовало высокомерие партийных чинуш, наоборот, он был вальяжно-вежливым, покладистым и терпеливо-внимательным в разговорах и спорах. Действительно, из нашего с ним несогласия он не сделал оргвыводов, не прибегнул к публичным разоблачениям; то есть наш острый с ним спор не имел никаких последствий.

Ордыбьева следовало бы за это уважать, но интуитивно я чувствовал, что по убеждениям мы абсолютно противоположны, причем намного больше наших выявленных несогласий. Я вынужден был тогда признать, что он не укоренён на коммунистических постулатах, смотрит вполне реально на изменившуюся жизнь, однако заглянуть ему в душу мне не удалось. Когда же он неожиданно-негаданно перепрыгнул из высокого райкомовского кресла в директорское на ликёро-водочном заводе, меня это прямо-таки шокировало. Но опять же, я не мог не признать осмысленность его выбора: вскоре властвующие либералы-реформаторы отменили водочную монополию и производители спиртного оказались в неслыханной прибыли.

Знал ли он такое заранее? Меня это по-серьёзному занимало, потому что ответ опять же представлялся загадкой, к тому же не ординарной. Если отгадать, то сразу поймешь всю подноготную погубительных реформ.

Теперь же Ордыбьев сделался самым влиятельным, самым властным человеком в Городецком районе. Он — первый богатей, может себе позволить всё, что угодно, в частности, брезгливо раздавить Базлыкова, как букашку, ноготком мизинца. То есть: небрежно закрыть «лавку древностей», чтобы на самом бойком

месте в Городце Мещерском возникла круглосуточная торговля водкой в его фирменном магазине «Суверен».

Ордыбьева не столько уважали, сколько боялись — как никого другого! Силкин же был его подручным ещё с райкомовских времён и мог безрассудительным тараном выполнить любое поручение. Для этого у него имелись все данные: мог то свойским мужиком прикинуться, смачный анекдотец рассказать, попотешничать — такое придумает, что тут же весь город узнает; понасмехаться — любого в шутовском свете выставить; но мог и ругательным, злобным хамом быть, разоблачителем, жалобщиком — в любую инстанцию пробьётся, не мытьём, так катаньем, но своё возьмёт.

Науку *классовой ненависти* Силкин усвоил досконально, и умел ненавидеть: то до поры пряча свою вражду, то шумно выставляя напоказ, как бывало выгодно, и как было, в частности, с майором Базлыковым, который — надо же! — в антиквары полез, в знатоки старины, в *интилихенты*! В общем, во всех масках мог себя представить Семён Иванович: прямо-таки Райкин! Эти-то особенности и ценил Ордыбьев в нём, порой восхищаясь...

Я повторил Базлыкову свой вопрос: неужели три райкомовских секретаря заранее знали о грядущих переменах, о том, что рухнет КПСС, Советская держава, в целом социалистический строй? Он задумчиво помолчал. Наконец устало выдавил:

— Выходит, знали. Раз почти год держали смачные места. Чего тут сомневаться? — Он оживился. — Возьмите вот нас, армейских. На случай чрезвычайной ситуации существует секретный пакет с печатями. Вскрыть можно только при определенных обстоятельствах. Но разве мы не предполагаем его содержимое? О чём будет приказано? Конечно, предполагаем. А значит, постоянно готовимся. Тут сомнений нет. Просто не может быть!

III

Что ж, пора было прощаться: бутылка опустошена, шпротки съедены. Я выразил Базлыкову сожаление по поводу закрытия его лавки древностей: мол, очень жаль, что гаснет культурный очаг. Всё-таки он, Базлыков, возбуждал в Городце Мещерском интерес к прошлому, к быту предков, к усадебной культуре, к

иконописи, а значит, и к православию. Потрафил ему: мол, дело тут не только в коммерческом интересе, но ведь присутствовало и просветительство, приобщение к высоким образцам прикладного и ваятельного искусства, к книжной и живописной значимости. Удручённо заметил: мол, в будущем на том же самом месте вновь полынью взрастёт бездуховность, возродится пьяное стойло и от этого становится не то что грустно, а трагически печально.

Мой вежливый спич растрогал Базлыкова. Он залепетал благодарности, принялся оправдываться, корить себя и в приливе горячих чувств решил облагодетельствовать — подарить икону Христа Спасителя. Вот ведь как! Всегда у нас и всё получается неистребимо по-русски: выпиваем, размягчаемся, теплеем друг к другу, примагничиваемся, после чего обязательно хочется сотворить что-то незабываемое; и доброта наша безгранична, а зачастую и безрассудна. Так было и в данном случае. Я принялся отказываться, а он — упрямо настаивать.

— Николай Рустемович, ну нельзя же так! — убеждал я его. — Икона, наверняка, дорого стоит. Может быть, я бы и купил её, будь у меня достаточно денег.

— Нет, я её теперь не продаю. Я дарю её тебе. Изволь принять!

— Николай, — упрямылся я, — уймись, пожалуйста. Не унижай меня. Если бы я хотел её купить, то нашёл бы денег.

Мы с ним то переходили на «ты», то возвращались к вежливому «вы»,

— Как это «не унижай»? Я дарю. Дарю тебе! Пусть она чуть шелушится... Думаешь, облезет? Не-е, — помотал он указательным пальцем на размах полукруга, раскачиваясь всем тренированным корпусом. — Согласен: можно отреставрировать. Но ценность её, думаешь, в серебряном окладе? Не-е... Иконописное исполнение на высоком уровне. Мастер писал! Смотри, какие тёмные тона... Христос будто из ночи является. Будто из чёрной, космической вечности. Он уже слился с ней... Ну, почти слился... Это ведь «Тайная вечеря»! Только тут Христос сам по себе. Он изображен без учеников, без апостолов. Видишь, едва проступающий круглый хлеб? И серебряный кубок с вином, чёрноматовый? А кубок как бы центр в серебряном чёрноматовом ок-

ладе. Смотри... Смотри! Написанное кистью и настоящее серебро не различишь. Мастер писал!

Он задумался, вдохновенный своим проникновением в иконописную суть.

— Но всё это обрамление... Как бы сказать? — он подыскивал точные слова. — Да! Оно, то есть обрамление, подчёркивает... ага! светлый лик Христа. Поднятый к Нему, к Отцу Небесному. Видишь, сколько в Его взгляде страдания? Недоумения! И смирения. А почему? Да ведь Он уже знает свою долю, уже произнесено об этом... Да, о Голгофе. А вокруг лика — смотри! — три аквамарина. Остался, правда, один. Но было-то три звезды! А что это значит? Божественное триединство.

Он умолк. Глаза увлажнились, и просветлённые слезинки скатились по щекам.

— Ты, Николай, так вдохновенно и поэтически описал икону, — проговорил я растроганно, — что не посмею теперь не то что взять её в подарок, но даже и купить. Ты ведь для себя её приобрёл! Разве не так?

— Так-то оно так, да только не сохранится она у меня, — тоскливо вздохнул он. — Удивляюсь, что этот деятель не обратил на неё внимания. А если бы углядел, — и Базлыков как-то странно, рыдающе кхакнул, — несдобровать бы мне. Он бы тогда вознамерился не в Пушкина стрелять, а в меня.

— Отчего же так?

— Этого я не открою, — твёрдо заявил он. — Нет, никогда. А потому, прошу вас, примите мой дар от чистого сердца. Прошу вас... Да, прошу вас, спасите эту икону

Бог ты мой, думалось мне, в мгновение Базлыков протрезвел и... тут же перешёл на «вы». До чего же, до какой крайности бывает переменчив русский человек! Как никто другой в мире! Вот же и подглазья его очистились от алкогольного темного налёта, а глаза, омытые слезами, сделались прозрачными, цвета небесной голубизны, будто те же звёздные аквамарины. Поразительно! Я спросил:

— А почему всё-таки надо спасать икону? От кого? От этого самого Силкина? Разве он...

— Сколько у вас есть при себе денег? — вдруг нервно перебил Базлыков.

— Ну где-то... думаю, чуть больше...
— Неважно! Берите! Она всегда будет вас спасать. — И добавил проникновенно: — И всегда удивлять!

— Ну уж вы скажите...

— Поверьте! Я убеждён: она вам предназначена. Именно вам!

— Но я совсем не думал ни о какой иконе, — сопротивлялся я. — Ведь мой главный интерес, вы же знаете, — книги. Я только ради них и заглянул.

— Знаю, знаю, — нетерпеливо отмахнулся он. — Но смотрите, что на обороте иконы написано...

— Как, там есть надпись?! — поразился я. — Значит, она точно датирована? Это любопытно.

— Безусловно. Пушкинская эпоха. Я даже поёживаюсь, представляя, как князь Сергей Михайлович Голицын обсуждает со столбовым дворянином Александром Сергеевичем Пушкиным вопрос венчания с Натальей Гончаровой в его домово́й церкви. Да, в домово́й церкви Пречистенского дворца на Волхонке.

— Неужели? — удивлялся я. — Оказывается, вы тоже книголюб?

— Нет, не я, а моя жена Оля. Она учительница русского языка и литературы. Восторженно влюблена в Пушкина. Он для неё как святой, и будто бы до сих пор живой!

— И вы хотите лишиться такой иконы? Даже задумали продать её словакам!

— Нет, словакам икона не нужна. Их бы заинтересовал, как я уже говорил, только серебряный оклад. Впрочем, и в этом я сильно грешен. Но такой уж казусный выдался день. Всё тороплюсь самоликвидироваться. До наезда Ордыбьева. Грешен! Грешен! — повторял он покаянно. — Однако вы надпись прочтите. В ней немало загадочного. Хотя вроде бы абсолютно проста. Но меня, — продолжал он, снимая икону со стеллажа, — другое смущает... не знаю даже, как точнее выразиться. Но когда я к ней прикасаюсь, то мне кажется, — и он остановил движение поднятых рук, оглянувшись на меня, — будто она тёплая, будто тепло излучает. Не поверите, я ощущаю какие-то живительные токи.

Он быстро взял её и, словно обжёгшись, тут же положил на стеклянную витрину. Торопливо продолжал:

— Наверное, потому, что мне сразу представляется сиятельный князь. Этаким холенный московский вельможа. Туз в орденах. Да, да, и это правда — будто оживает! Мистика какая-то.

IV

И вот в моих руках ж и в и т е л ь н а я икона Христа Спасителя, уже приготовившегося к Голгофе. Но ни тепла, ни внутренней дрожи от прикосновения к ней я не испытывал. Наоборот: почувствовал прохладу серебра да тяжесть морёного дерева. Мне даже кажется кошунственным такое признание. Кроме того, вблизи иконопись выглядела болезненно омертвелой, и не только из-за страдательной боли Христа, слезно воздевшего лик в запредельные выси с мучительным вопрошанием к Отцу Небесному обо всём неправедном и нечестивом на земле, а главное — з а ч т о? Да, за что Ты решил погубить Сына в земной юдоли? Но нет, не из-за этого, а прежде всего из-за угасших, потемневших красок меж обнажившихся сколов грунтовки, из-за проржавелых, обломанных гвоздиков, чуть держащих оклад. На обратной, глянцево гладкой стороне иконы прекрасно сохранилась почти в первозданности каллиграфическая надпись фиолетовыми чернилами — с нажимами и волосковыми завитушками, выведенная гусиным пером:

«Сим образом Спасителевым благославил Его Сиятельство Князь Сергей Михайлович Голицын при вступлении во второй брак Ивана Данилова Чесенкова июля в 24-е число 1820-го года в селѣ Винстернском у образа и венца с золотником».

Ничего особенно загадочного в надписи я не углядел. Ну, может быть, упоминание «второго брака» некоего И. Д. Чесенкова, да, пожалуй, название села на английский манер — Винстёрнское. Что ж, судя по всему, И. Д. Чесенков являлся одним из окрестных приятелей князя, был вдовцом и вступал во «второй брак». Сам же С. М. Голицын, вероятно, был англоманом, раз держал при себе англичанина Джона Рамсея Возгринна, а значит, был и либералом-западником. Для меня же после победы лукавой либеральной революции в злополучном августе 1991-го года всякое, даже случайное, упоминание о низкопоклонничестве

перед Западом вызывало аллергию. Я даже вновь подумал, что нечего мне брать эту икону, лучше отказаться, хотя бы по той причине, что, мол, с деньгами совсем туго. И как только возникли подобные мысли, я вдруг почувствовал... поверите ли, жар в руках! Более того, меня о б о ж г л о необъяснимое, непонятное волнение, и я выронил икону на стеклянную витрину; отпрянул, испугавшись, что брызнут колющие осколки, но витрина не разбилась.

Базлыков вежливо, понимающе улыбнулся:

— Горячо? — И убеждённо, односложно произнёс: — Берите! Она действительно вам предназначена.

Теперь уже я не сопротивлялся.

Глава вторая

СИЯТЕЛЬНЫЙ НЕСЧАСТЛИВЕЦ

I

Ни на каких картах село Винстёрнское не обозначено, даже на самых крупномасштабных. Нет его и на губернской карте прошлого века. Однако всюду присутствуют Гольцы, расположенные чуть в стороне от одной из возвратных излучин Оки. Именно в этих местах находилось и обширное голицынское имение, о чём сообщается в многотомном труде «Россия», созданном под началом великого географа и знаменитого путешественника П.П. Семёнова-Тяньшанского.

Конечно, туда надо было съездить. Но прежде, решил я, следует разобраться с самим князем Сергеем Михайловичем Голицыным. Когда принялся разбираться, то часто и невольно восклицалось: «Боже, какая странная, незадавшаяся судьба!» По-человечески просто несчастливая... Хотя являлся одним из богатейших людей Российской империи. А вот, оказывается, несметные богатства не помогают человеку быть удачливым и счастливым.

Князь С. М. Голицын владел поместьями повсюду в России. Сотнями десятин земли, тысячами крестьянских душ... Миллионные доходы, великолепные дворцы в Москве и Санкт-Петербурге, конные заводы и ситцевые фабрики, каменоломни и копи, речной парусный флот — да разве всё перечислишь! И, безусловно, — золото, бриллианты, фарфор, гобелены, картины известных мастеров, исторические фолианты, книги изящной словесности на всех европейских языках... Его имения по-другому и не определишь, как только о ч а г и культуры, с в е т о ч и любомудрия. Они, словно мерцающие огни, призрачно сверкали на беспредельных просторах тёмной, безграмотной, придавленной крепостной неволей России.

Сергей Михайлович Голицын, несмотря на определенные достоинства характера, по убеждениям был твердолобым крепостником, следовательно, консервативным, непримиримым к либеральным веяниям эпохи. Из-за таких вельмож, как он, Россия и жила постоянно на грани потрясений и бунтов. Неизбежность революционного краха предощущалась ещё при его жизни — в царствования венценосных братьев Александра и Николая Павловичей...

Князя можно считать холостяком, хотя и был он обвенчанным. Император Павел Первый, определил ему невесту — красавицу и умницу Евдокию Измайлову, тоже из знаменитого московского рода. Двадцатипятилетний Голицын был в восторге от принудительного брака. Но ни самодержавный властелин, ни, тем более, молодой князь не подозревали, что подобные браки, как правило, оборачиваются несчастьями. К тому же князь Голицын не отличался ни внешней привлекательностью, ни глубоким умом, а потому самонадеянная, своенравная невеста прямо из-под венца уехала в родной дом, и только строгие наставления старших вынудили её смириться с вздорной волей Павла Петровича. Вскоре молодожёны отправились в свадебное путешествие в Европу, хотя и взбаламученную наполеоновскими войнами, однако филистерски спокойную, и прожили там больше года, в основном в Дрездене, — в этом *золотостатуйном, фарфоровом* городе на тихих берегах Эльбы. Там и застала их весть об убийстве повелительного деспота — императора Павла Первого.

Двадцатилетняя Евдокия Измайлова в тот же день заявила растерянному мужу, что считает себя свободной, а их брак незаконным, и, влекомая очистительной бурей века, умчалась в Париж.

Потомственный Гедеминович, из литовского великокняжеского рода, князь Сергей Михайлович Голицын, оскорбленный донельзя, униженный, как раб, незаметно вернулся в Москву и скрылся в родовом подмосковном имении, в Кузьминках. Он надеялся, что заносчивая супруга одумается, оценит его благоразумие и вернется к нему.

Да, она вернулась в Россию, но не к нему и не в Москву. Она не только не любила его, не только не уважала, а открыто презирала — как тупого бездельника: трусоватого и мелко тщеславного.

II

Евдокия Ивановна Измайлова, оставаясь княгиней Голицыной, обосновалась в столице, в Санкт-Петербурге, где купила дом на Миллионной улице, рядом с императорским Зимним дворцом. Там она устроила ночной вольнолюбивый салон. Всю ночь горели свечи в доме молодой и своенравной княгини. В светских кругах Петербурга её прозвали «принцессой ноктюрн» («ночной княгиней»).

Отчего была такая экстравагантность? А оттого, оказывается, что ещё в детстве цыганка предсказала ей раннюю смерть ночью. И впечатлительная Евдокия Измайлова, княгиня Голицына, решила встречать костлявую бесстрашно — лицом в лицо.

Её салон посещали Жуковский, Батюшков, Вяземский, братья Тургеневы, а в дальнейшем, после окончания Лицея, и юный Пушкин. С Евдокией Ивановной у него установились близкие, доверительные отношения. Он посвятил ей оду «Вольность». Они тогда придерживались одинаковых убеждений — об отмене крепостного права, о необходимости конституции, об ограничении самодержавия, о народном просвещении, о пагубности церковных оков и о многом другом. Они также одинаково смотрели в глубь русской истории, любя её такой, какой Бог послал.

Однако вернёмся назад, к самому началу девятнадцатого столетия, к её бегству в Париж. При всём, при том... да, при всём, при том Пушкин не являлся в её жизни главным лицом, вернее, героем её романа и судьбы в целом. Так вот, покинув Дрезден, где оставался незадачливый муж, Евдокия Измайлова, княгиня Голицына, прискакала в революционный Париж. Там она познакомилась с братьями Долгорукими, Петром и Михаилом, блестящими офицерами из свиты нового императора Александра Первого, посланными им во Францию приглядывать за Наполеоном. Это были Рюриковичи, прямые потомки святого князя Михаила Всеволодовича Черниговского.

Беглянка влюбилась в младшего из братьев, в Михаила. Но страсть их расцвела только в Петербурге — после Аустерлица. В том знаменитом сражении полковник Михаил Петрович Долгорукий был тяжело ранен в грудь. За проявленные в бою мужество и сообразительность император лично наградил его золотой шпагой с надписью «За храбрость».

Евдокия Голицына самозабвенно любила храброго князя, и любовь у них была взаимной. Они во всём совпадали, составляя, ну что ли, единое целое. Он, как и она, увлекался математикой и философией, государственным строительством и политикой, отдавая этим занятиям всё свободное время. Но в бурную эпоху наполеоновских войн князь Долгорукий в первую очередь мыслил себя боевым офицером.

В следующей кровопролитной битве при Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии полковник Долгорукий — и вновь за храбрость! — был награждён орденом Святого Георгия и произведён в генералы. По утверждениям современников, молодой Рюрикович сиял одной из ярких звёзд на военном небосклоне.

Был он полной противоположностью мужу Евдокии Ивановны, князю С. М. Голицыну, — вельможному увальню, полностью равнодушному к государственным нововведениям, более того, по мере возможностей препятствующему им; бесконечно далёкому от точных наук и философии, особенно позитивизма; а кроме того, избегавшему, как чёрт ладана, рискованной военной карьеры из-за страха быть убитым, да и вообще из-за походных тягот и всяческих неудобств. Однако и он отличался нескрываемым тщеславием, желал, чтобы его хвалили, награждали, а пото-

му выбрал для себя попечительскую стезю, благо был несусветно богат, — почётную и достойную, всегда у всех на виду, и главное: без всякого риска!

В 1807 году Евдокия Ивановна потребовала от мужа расторжения принудительного брака. И ей, и князю Михаилу Долгорукому хотелось и перед Богом, и перед людьми быть законными мужем и женой, а не восприниматься как тайные любовники. Мстительный князь Голицын наотрез отказал в разводе. Он сладострастно крушил возможное счастье возлюбленных, рассчитываясь за прошлые унижения и обиды.

Этот мстительный удар, как теперь говорят, ниже пояса оказался роковым. Презирая великосветские пересуды, лицемерное сочувствие и подлые домыслы; страдая от безысходности церковного брачного тупика, двадцатисемилетний генерал Михаил Долгорукий напросился в очередную военную кампанию на русско-шведской войне, где был убит шальным снарядом в августе 1808 года...

Наверное, Евдокия Измайлова и Михаил Долгорукий были самым Всевышним предназначены друг другу... А вообще-то, очень странно, что эта шекспировского накала страсть, точнее трагедия, хорошо известная в литературных и светских кругах Петербурга, в дальнейшем никак не отразилась в отечественной словесности. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: каждая человеческая жизнь — или драматический, или трагический сюжет, а в с ё описать невозможно!

Евдокия Ивановна так и осталась никем — не женой, не вдовой, а именно «принцессой ноктюрн». Может быть т а - к у ю «раннюю смерть» предсказывала ей цыганка? Как бы пояснее выразиться?.. Разве вот так: *смерть влюбленного сердца?*.. В любом случае она умерла сорок четыре года спустя после гибели возлюбленного и за год до смерти С. М. Голицына. Отошла в мир иной во сне, как и напороочила гадалка, однако напрочь забыв о своём давнем суеверии.

По завещанию её похоронили в Александро-Невской лавре рядом с князем Михаилом Петровичем Долгоруким. Видимо, и в самом деле им было предназначено венчание на небесах.

III

Икона Христа Спасителя с надписью подвигла меня разобратся в судьбе Сергея Михайловича Голицина и неведомого Ивана Даниловича Чесенкова. Я чрезвычайно этим увлёкся, и многое узнал, но только о сиятельном князе. Однако сейчас мне вдруг подумалось, что исторические подробности вас могут утомить. Мол, с какой стати столько места уделяю не очень симпатичному князю Голицыну? Его своевольной супруге? Мол, какое, в конце концов, имеет отношение ко всему происходящему Пушкин?

Ну-у, Пушкин всегда и во всём уместен! Хотя бы своим стихотворением, взятым в эпитафию. Кстати, при его жизни оно оставалось неизвестным — в черновой тетради, из-за одного лишь не найденного слова, — а после его смерти повторяется чуть ли не каждым поколением русских людей. Повторяется всегда, когда речь заходит об Отечестве! И я его повторяю, только теперь с тем самым — казалось бы! — не найденным им словом, которое, — не сомневаюсь! — он бы обязательно нашёл, если бы вернулся к этому стихотворению в черновой тетради. Вообще-то, мне верится, что он знал это слово, но искал иное, высшее по смыслу. Безукоризненность его вкуса — притча во языцех. Но я цитирую с логической вставкой:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как *без оазиса* пустыня,
И как алтарь без божества.

Каждый раз вдумываясь в чудодейственный смысл сказанного, постигаешь поразительную глубину его, пушкинского, проникновения в сущности человеческого бытия; и ещё — небесную подсказку! Вдумайтесь:

... **родное пепелище**... Ух! *родным* может быть *очаг*, но пролетевшая жизнь любого из нас — то же *пепелище*, и в этом поразительная точность сравнения...

... **отеческие гробы**... Казалось бы, сумеречная, пугающая мистика, а ведь вникнув, — какой свет! Какая нераздельность наших отеческих родовых судеб! Абсолютное единство, единение...

... **животворящая святыня**... Ей-богу, лучше не скажешь! И никто после Пушкина не сказал! А ведь это святая мудрость: Бог и Разум! А соединённые вместе — Жизнь!..

... **земля была б без них мертва**... А это уже апофеоз! Да, апофеоз земной, человеческой жизни. Потому что иначе — *земля мертва*...

И самое главное — **любовь**! Без любви к родному пепелищу, отеческим гробам земля — как планета, как среда обитания — *была б мертва*...

Всё, конечно, так; именно так... Ай да Пушкин!

IV

Однако вернёмся к князю Голицыну, потому что, не обрисовав эту фигуру, обстоятельства его жизни и его окружения, просто не удастся объяснить дальнейшие события.

Мне пришлось просмотреть и перечитать воспоминания и дневники той эпохи и даже заглянуть в голицынские архивы, пока наконец-то не обозначилась ситуация июля 1820 года и не ожили нужные мне люди — сам сиятельный князь, престарелый англичанин Джон Рамсэй Возгрин, бывший четверть века управляющим приокского имения баронессы Строгановой, матери князя, незадолго до того умершей и сделавшей сына ещё более богатым — только денежного дохода прибавилось на 300 тысяч рублей! — и крепостной конторщик, безукоризненно владевший тремя европейскими языками — английским, французским и немецким, а также обученный и многим другим премудростям, Иван Данилович Чесенков.

В жаркую макушку лета спокойного, ничем не примечательного 1820 года князь Голицын порешил лицезреть свои но-

вые владения и отправился в *плавание по России* — по Москва-реке, Оке и верхней Волге.

О, какое это было п л а в а н и е!

Глава третья

ПЛАВАНИЕ ПО РОССИИ, ИЛИ ПРИТЧА О ВТОРОЙ ЖЕНИТЬБЕ

I

Элегантный парусник, белый, как июльское облако, с княжеским штандартом на грот-мачте выглядел сказочным. Тихие ветрá нежно круглили его паруса, но по течению он нёсся безоглядно, и казалось, будто парит на крыльях. Ох, как хороши, как в самом деле крылаты были его грот-марсели и грот-стаксели, кливеры и фоки, а корабельный бушприт напоминал костяной клюв буревестника.

За ним совершенно не поспевал палубный бот с челядью и припасами, у которого к тому же на носу грозно тяжелилась чугунная пушечка. Только ночными весельными усилиями — слава Богу, не успевали затухать вечерние зори, как возгорались утренние — удавалось нагонять летящий по волнам парусник.

Потребовалось всего-то два дня, чтобы долететь до села Винстернского в срединном течении Оки у возвратной излучины с огромными валунами, где, углубив заводь и выложив её булыжником, Джон Возгрин устроил белокаменный причал. Встречать суверена вывалил весь подневольный люд — от мала до велика; выстроился вдоль луговой дороги, убегающей от пристани к белому барскому дому на взгорье; к церкви с трехъярусной колокольной, откуда на всю окскую пойму раздавался радостный колокольный звон.

Усадьбу на английский манер окружал вольный ландшафтный парк, спускавшийся в приречные луга, и всё это вместе называлось Винстернское. Да, по желанию многолетнего матушки-

ного управителя англичанина Джона Рамсея Возгрин, кем до самой смерти она не переставала восхищаться.

Избяное же скопление под соломенными крышами в обширном ополье именовалось Гольцами. За конным двором через ложбину на опушке вековой дубравы имелось ещё поселение — тянулся ряд изб, куда селили конторских и частью дворовых, и называлась эта улица-порядье Дубровкой.

Там и проживал талантливый самоучка, знаток трёх языков, грамотей, каллиграф, книгочей и очень исполнительный, рассудительный конторщик Иван сын Данилов Чесенков. Видимо, фамилия-прозвище «чесенков» происходила от определения «чесный», от одобрительного — «чесняк», перевоплотившись в конце концов в мягко-восхитительное: чесенков! Вполне вероятно...

Был он бездетным вдовцом, лет сорока. Женила его Баронесса — так дворовые между собой называли княгиню Голицыну — на своей постельничей девке, заболевшей страшной болезнью (похоже, раком), и почти десять лет он покорно, терпеливо за ней ухаживал. Баронесса же, ещё в юности, приставила его к англичанину, зная необыкновенную способность Ванька перенимать чужие языки, отчего, между прочим, Джон Возгрин так и не научился свободно изъясняться по-русски.

Возгрин с Чесенковым были неразлучной парой и вместе выглядели достаточно смешно: Джон — громадный мужчина с львиной, рыжей головой, с мощными ручищами в золотистой шерсти, гладкобритый, но с пышными бакенбардами, всегда красиво, авантажно одетый; с широким, монументальным шагом — весь мощь, сила, неутомимость. И полная ему противоположность Ванёк Чесенков: в затасканном сюртучке или простой холщевой рубашке; маленький, с острой козлиной бородкой, рано облысевший, худющий — в чём только и душа держалась? Однако двужильный, вроде бы ни нервный, ни физические перегрузки ему неведомы, и, хотя на погляд жалок, но его васильковые глаза постоянно излучали не свет даже, а восторженное сияние.

Редкий человецишка: в бедности — аккуратен, в делах — точен и неутомим, более даже, чем сам английский геркулес Возгрин. Наверное, потому-то и дружили они, и никогда не ссорились — целую четверть века!

Кроме того, удивительным качеством наделила его природа: много знал, а будто бы ни о чём и не ведал. Только со своим англичанином бывал порой откровенным, а так — рот на замке. Наверное, всё же от своей крепостной неволи. Весь — подчинение и исполнительность. И как не тормозил его душу во всём вольнолюбивый Возгрин, никак и ничем не мог расшевелить.

Управляющий догадывался, что со смертью благодетельницы (а когда-то на берегах Темзы и возлюбленной, впрочем, как и в первые годы на берегах Оки, пока старый князь не запретил княгине появляться в Винстернском), — да, не сомневался, что его русская эпопея завершилась, и единственное, о чём он мечтал напоследок, — добиться освобождения своего угнетённого друга. Тем более, по его же настоянию Чесенков наконец-то надумал жениться, и избранница его была молода и красива. Престарелый англичанин искренне желал, чтобы дети неразлучного друга родились свободными.

II

Сиятельный князь возжелал выслушать доклад управляющего без отсрочки — утром следующего дня. Но сразу вышла незадача: сам он был слаб в английском, а Джон Возгрин изъяснялся по-русски через пень-колоду, не знал ни бельмеса по-французски и ни бе, ни ме по-немецки, и вот пришлось звать крепостного человечка, конторщика Чесенкова.

Это раздосадовало князя, но больше его раздражал сам англичанин — своей величественностью, независимой манерой держаться, говорить на равных, будто он лорд, да ещё и на всякие вольные темы, демонстрируя познания и убеждения, которые ему, владельческому суверену, были совершенно не к чему, а тем более, не к чему выглядело упрямое желание Возгрин изъясниться с ним о вреде крепостной зависимости, причём через самого раба!

Князь не только высокомерно презирал заносчивого англичанина, о давней интимной связи которого с матушкой был наслышан, но с огромным усилием усмирять в себе злость, гнев и раздражение. Однако, как великосветский лицедей, он владел искусством никак не показывать своего истинного отношения. Он

просто перестал слушать Возгина, решив, что по отплытии вручит ему расчётный лист и надменно откажется от дальнейших услуг.

А вот этот конторщик Чесенков, его подневольный человек, был ему чем-то симпатичен, даже вызывал неподдельное любопытство. Но не тем, что умел изъясняться, читать и писать на трёх языках, вернее, на четырёх, включая и родной русский, — подобные встречались и в других княжеских имениях, — а тем, что обстоятельства его жизни во многом совпадали с его собственными: он был принудительно и несчастливо женат.

Наверное, именно в Винстернском князь Голицын впервые засомневался в том, что мщение наречённой императором Павлом Первым супруге было правильным. Ведь дай он ей развод, то и сам бы стал свободным, мог бы вступить во в т о р о й б р а к, как этот жалкий крепостной вдовец, и выбрать бы себе такую же юную, непорочную невесту, естественно, из своего круга. Пожалуй, встреча с трепетно напуганным конторщиком отложила в душе князя самый яркий след за всё пышное *плавание по России*.

Но вернёмся к его разговору с Джоном Возгином. Восхищаясь, как старательно и точно излагает галиматью этого английского павиана его крепостной человек, князь Сергей Михайлович Голицын небрежно перебил того, заговорив по-французски, как привык на светских раутах или в том же московском... Английском клубе! И его поразило, как не вздрогнув, не изменив обречённого выражения лица, Чесенков без запинки перевёл им сказанное на английский. Эта игра сиятельству понравилась, и он даже повеселел. А произнёс он следующее:

— Месье Вос-хрин (князь специально искажил фамилию англичанина, чтобы унизить), хватит читать мне нотации. Меня не волнуют ни ваши экономические, ни позитивистские теории. Я не поклонник Адама Смита и французских моралистов. Наш разговор будет более полезным, если я поставлю вам вопросы, а вы изволите ясно и коротко отвечать. Хотя я и сомневаюсь, что вы умеете кратко излагать свои мысли, мистер Вос-хрен. — Тут он усилил оскорбительность в произношении фамилии управляющего, и об этой своей ловкости князь Голицын в дальнейшем любил рассказывать на московских балах внимающим слушате-

лям. — Да, мистер Вос-хрен! — недовольно воскликнул он по-русски. — В любом случае вы меня уже утомили.

— Задавайте вопросы, ваше сиятельство, — нахмурился большой, импозантный Возгрин. Добавил по-русски с корявым произношением: — Как говорят ваш народ, хрен редька не слаще.

Нахмурился и князь. Он не подозревал, что управляющий совсем не плохо понимает по-русски, хотя и говорит туговато. Но и обрадовался, прежде всего тому, что этот заносчивый английский павиан уловил, как он его ловко поддел и унизил: мол, хрен ты заморский!

— Так вот, скажи мне, месье Вос-хрин, — смакуя, продолжал Голицын, — м-да... месье Вос... Хрен! А ты, я смотрю, по-русски-то кумекаешь, — и князь погрозил указательным пальцем с рубиновым перстнем. — Так вот, скажи-ка мне, как ты устроишь фейерверк нынче вечером?

— Не переживай, ваша сиятельность, я делаю ол райт, — отвечал Возгрин.

— Смотри у меня, — вновь погрозил своим холёным пальцем князь. — Ну, а какие напитки из матушкиного погреба ты намерен выставить к обеду? У меня гости — знатоки. Ты обязан понимать, милейший, что я привык удивлять общество.

— Коньяк тысяча восемьсот первого года и бургундское тысяча восемьсот восьмого года, — Возгрин опять перешел на английский.

Князь поморщился.

— Года мне не нравятся.

— Почему, ваше сиятельство? Напитки очень достойные. Другими мы не удивим.

— Нет, не подойдёт, — капризно отверг князь. Он не стал объяснять, что эти года занозами торчат в его памяти: в один из них жена покинула его, в другой — требовала развода. Но разве мог знать об этом Возгрин? Конечно, нет. Просто ему тотально не везло в отношениях с новым владельцем.

— Я не понимаю, милорд, — угрюмо выдавил он.

— Ладно, поговорю со своим метрдетелем, — снисходительно бросил «милорд».

Пустой разговор раздражал делового Возгрин. Он управлял имением, а не застольями. Тут он окончательно убедился, что никакие отношения — ни плохие, ни хорошие — с надменным сыном той, которая когда-то его страстно любила, у него не сложатся. Поэтому пора, без всяких проволочек, собираться в Англию. Теперь он твёрдо знал, что пора. А раз так, то нет никакого резона потакать капризам этого расфуфыренного вельможи. В конце концов пришёл срок и ему, Джону Рамсею Возгрину, высказать всё, что он думает о России — о той системе рабства, которая не только не продуктивна, но застопорила развитие страны, а главное — бесчеловечна! Взять хотя бы безропотного, придавленного конторщика Чесенкова. В Англии такой умный человек был бы уважаемым служащим в любой компании, в той же «Ост Индской», и даже в Форин-оффисе. Ему везде бы нашлось место. А в России — он неведомый никому раб!

— Простите, ваше сиятельство, — заговорил Возгрин в умеренной серьёзности, — я не желал в первый же день вашего пребывания в Винстернском объявить, что покидаю Россию. Но чувствую, уместно об этом сказать сейчас. Я не жду от вашей милости никаких наград. Но моё сердце и мой разум согрела бы добрая память о вас, если бы вы сделали ничего не стоящий жест. — Джон Возгрин остановился, набираясь духу. — Если бы вы сделали незначительный подарок, нет, не мне, а вашей замечательной стране... Позвольте мне высказать мою сердечную просьбу.

Благотворитель князь Сергей Михайлович Голицын любил делать подарки и потому заинтересованно слушал, стараясь угадать, о чем же попросит этот гордый житель Туманного Альбиона.

— Говорите, говорите... Надеюсь, это не составит мне затруднения, — поощрительно произнёс князь и рукой в перстнях вяло подбодрил управляющего.

— Мой разум и сердце... да, будут согреты на моей милой родине... да, если я смогу знать, что мой многолетний русский друг, мой *альтер эго*, мой незаменимый помощник Иван Данилич Чесен-кофф (фамилию, имя, отчество он старательно выговаривал по-русски)... да, этот необыкновенный человек, знаток в

языках и управлении... да, если он из ваших щедрых рук получит свободу.

При упоминании его имени Чесенков вздрогнул и замолчал. Он так и стоял с открытым ртом и испуганными глазами, страшась перевести конец сказанного — о свободе.

— Ну, голубчик, переводи, что за подарок желает мистер Вос-хрин, — поощрительно, мягко потребовал князь, хотя и заподозрил, что этот несносный брит опять отчубучил нечто несуразное.

— Я не могу, ваше сиятельство, — вымолвил Чесенков и плюхнулся на колени, склонив голову.

— Странно всё это, — пожал плечами князь.

— Да, мой просьба есть очень странна для Россия, — пришёл сам себе на помощь Возгрин. — Я вас прошю... да, я вас прошю дать мне дар... да, дать свобода мой любезный друг Иван Данилич Чесен-кофф. — Англичанин сильно волновался, торопясь высказать всё: — У него есть второй свадьба. Он уже пожилой человек, но... Как это? Он может иметь шанс жить щасливо. Его дети быть свободный. Это есть human rights*. Вам, князь, это дать nothing at all**.

Князь Сергей Михайлович Голицын умел справляться с любыми неожиданностями. Искусный в обхождении он неслучайно возглавлял Московский опекунский совет, являлся президентом Императорского человеколюбивого общества, попечителем двух больниц для низших сословий — Голицынской и Павловской. Каких только не возникало проблем — не сочтёшь! Поэтому он давно взял за правило не спешить с ответами, а своих канцеляристов вышколил искать обходные решения. Точнее сказать, половинчатые, которые, конечно, мало кого удовлетворяли, но в то же время никого не обижали. И считал эту свою методу эффективной, благоразумной; и очень этим гордился.

Князь поднялся из величественного, как трон, кресла, медленно прошелся по ковру, как бы размышляя, потом приблизился вплотную к конторщику, дотронулся до его плеча и ласково произнес: «Встань, голубчик». Но тот, наоборот, упал ему лицом в

* права человека (англ.)

** ничего не стоит (англ.)

ноги и со слезами молвил: «Не виноват, ваше сиятельство, не виноват».

Джон Возгрин поморщился и принял ещё более горделивую позу, а князь Голицын понял, что конторщик действительно невиновен, и это не сговор, а лишь импульсивное желание заносчивого англичанина.

«У вас, мистер, — неприязненно подумал князь, — на вашем крошечном острове свои порядки, а у нас в безграничной империи, в половину Европы и в половину Азии, да ещё с Аляской и Калифорнией в Америке, — свои! И не вам нас учить! А мы менять ничего не намерены!».

— Встань, голубчик, встань! Ну зачем же так? Не надо. Вставай, вставай, — повторял ласково князь и, нагнувшись, вновь дотронулся до плеча конторщика. А затем, повернувшись к Возгрину, теперь, безусловно, бывшему управляющему, произнёс: — Слава Богу, мы остановили якобинскую заразу, освободили Европу от наполеоновского деспотизма, а то, к чему вы меня призываете, мистер, наш славный император не одобрил бы. Я в этом уверен. Мы в России уж как-нибудь обойдемся без вашего просвещённого ума, — съязвил Голицын. — Я сам знаю, как мне облагодетельствовать моего подданного.

Он опять обращался к Чесенкову:

— Ну встань же, голубчик, встань! — Чесенков пугливо поднялся и стоял ни жив, ни мёртв с опущенной головой. — Ты вдовец? У тебя, в самом деле, второе венчание? — допытывался Голицын. Тот кивнул. — Любопытно, м-да... любопытно. Что ж, я тебя лично благословлю. По-нашему, по-русски, голубчик. В храме, перед алтарем.

Князь величественно, неторопливо развернулся своим полнотелым корпусом, приподняв подбородок, и надменно произнёс, обращаясь к Возгрину:

— А вас, господин управляющий, я не в силах порадовать. После нашего отплытия вы можете считать себя свободным. М-да. Совершенно свободным! — язвительно подчеркнул князь, усмехнувшись. — И незамедлительно отправляться на свою любимую родину. Мы тоже вас отблагодарим за те труды, которые вы вложили, м-да, в матушкино имение.

Князь Голицын замедленным кивком головы показал, что аудиенция закончена.

III

Через три дня, 24-го июля, состоялось венчание крепостного крестьянина Ивана Даниловича Чесенкова и дворовой девицы Катерины Кузяковой. Князь Сергей Михайлович Голицын перед алтарем в присутствии изысканных гостей (он привык всё делать напоказ) благословил иконой Христа Спасителя вдовствующего конторщика, вступавшего во второй брак, лицемерно прослезившись на церемонии и приобнявшись со своим рабом. Об этом княжеском даре благодарный раб в приливе самых незамутненных верноподданнических чувств в тот же день своим каллиграфическим почерком вывел тщательнейшую надпись на гладкой обратной стороне святой доски.

Джону Возгрину князь Голицын перед отплытием из Винстернского один на один в своем роскошном кабинете вручил расчётный лист и... французский пистолет! Чтобы ещё больше унижить гордого брита, сказал:

— Месье Вос-хрен, мой подарок со смыслом. Надеюсь, он вас обезопасит от разбойников во время путешествия по дикой России в вашу свободолюбивую Англию. Этот французский пистолет вы могли бы использовать при любых изменчивых обстоятельствах жизни, даже пустив пулю в собственный лоб.

Джон Возгрин и без слов сразу всё понял — сам по себе подарок был крайне вызывающим, подчеркивающим всю негативную гамму княжеских чувств. Он абсолютно точно уловил, чего князь ему желал: застрелиться или быть застреленным. Об этом он и поведал своему долголетнему другу, прощаясь с ним. С сожалением и печалью он отдал ему «во второй дар» ненужный ему французский пистолет, заметив с постоянно присущим ему юмором, на этот раз крайне мрачным:

— Пожалуй, девиз князя больше подходит для тебя, Иван. Потому что, пойми наконец, нельзя вечно оставаться рабом!

IV

По своей врожденной лени, нерешительности и неторопливости князь Голицын в ы ж и д а л события. В приюском имении он больше никогда не бывал, хотя не то что хорошо помнил, а часто похвалялся тем, как отбрил заносчивого англичанина, но главное — как благодетельствовал своего крепостного человека, вступавшего во второй брак и выбравшего прелестную, как персик, дворовую девку. Идея второго брака всё упрямее занимала престарелого князя.

Его великолепный Пречистенский дворец на Волхонке, славившийся самыми пышными балами, москвитяне между собой именовали «Холостяцким домом». Князю это нравилось. Ему казалось, что вся Москва благосклонно сочувствует его жертвенному одиночеству. Ему и в голову не приходило, что в определенной *холостяцкий* присутствует и тонкая издёвка, и лёгкая московская ирония. К тому же он не брал в толк, да просто не воспринимал, что те же москвитяне прекрасно были осведомлены о его крепостной наложнице в Кузьминках, в роскошном подмосковном имении, к которой он был искренне привязан и любил баловать прижитых от неё деток. Но ни при каких обстоятельствах князь Голицын не намеревался на ней жениться, поднять до своего уровня, как когда-то сделал граф Шереметев, влюбившись в Прасковью Жемчугову. Поэтому в понятии «Холостяцкий дом» присутствовал вечный привкус ядовитой насмешки по поводу лукавого поведения того, кто возглавлял Московский опекунский совет и Императорское человеколюбивое общество. В любом случае голицынский «Холостяцкий дом» просуществовал в Первостольной более, чем полвека!

Однако мысль о втором браке наконец-то дозрела в заторможенном княжеском сознании, и это случилось как раз в то время, когда Александр Сергеевич Пушкин сватался к Наталье Гончаровой. 55-летний князь тоже решил, что влюблён, и избранницей его оказалась 20-летняя подруга трёх сестер Гончаровых, красавица и умница, Александра Россет. Не вспоминаете ли, что о ней писал тогда же Пушкин? Напомню:

Черноокая Россети
В самовластной красоте

Все сердца пленила эти...
те-те и те-те-те...

Потерявший голову, князь Голицын не жалел ничего, чтобы завоевать сердце небогатой Сашеньки Россет. Он подарил «самовластной красоте» только одних бриллиантов чуть ли не на миллион рублей! А её четырём братьям, обучавшимся в Петербурге в Пажеском корпусе, дал «жениховские подкупы» — по сто тысяч каждому!

Великосветский Петербург и хлебосольная Москва, затаившись, с нетерпением ждали, чем же закончится сватовство богатого старика к юной фрейлине. Конечно, по понятиям того времени Александра Россет мечтала сделаться и богатой дамой, и титулованной особой — княгиней!

Свадьба была слажена. Тут-то холостякующий князь и вспомнил о самой малости — получить развод у своей престарелой, давно уже безразличной ему, всего лишь назывной, однако в е н ч а н н о й супруги. Самонадеянный князь и на миг не сомневался, что по прошествии тридцати лет, как он с Евдокией Ивановной пребывал в разъезде, она посмеет ему отказать, тем более, он давал ей откуп, а, кроме того, когда-то она и сама просила развода.

Однако женское сердце не умеет прощать, особенно за собственную погубленную любовь. Женщин по жизни ведёт не разум, и не расчёт, — только страсть! Женская месть выше рассудка; она обжигает; она сравнима с огнём; и проходит, исчезает из сердца, лишь испепелившись.

Княгиня Евдокия Ивановна Голицына отказала князю Сергею Михайловичу Голицыну в разводе, отмстив наотмашь, как бы припечатав калёным клеймом: теперь уж до смерти!

А за что страдать, быть опозоренной Сашеньке Россет? Юная фрейлина сразу же вернула самонадеянному старику все подаренные ей бриллианты, а её братья стотысячные «жениховские подкупы». Правда, один из них успел истратить значительную сумму, но её тут же согласился погасить молодой дипломат Н.М. Смирнов, влюблённый в Сашеньку, за которого вскоре она и вышла замуж.

Вообще, присутствие Пушкина возле князя и княгини Голицыных удивительно. С князем, после закончившегося постыд-

ного сватовства, он приятельства не возобновлял и в его «Холостяцком доме» на Волхонке больше не бывал. Крайне чувствительный к понятиям чести, Александр Сергеевич испытывал презрение к Голицыну, к его недостойному скопидомству, к его лукавому лицемерию. Голицын посмел взять обратно даренные о б ъ я в л е н н о й невесте бриллианты и «денежные подкупы» её братьям. Ведь это было равнозначно тому, что за ломберным столиком проигравший игрок сгрёб с кона потерянные деньги, мотивируя тем, что игра, мол, прекращена «не по его вине»; и никак не заботясь о своём реноме, о том, что прервалось всё из-за его собственной самонадеянности.

О, как презирали в Москве старого вельможу! Этого записного человеколюба, этого лицемерного опекуна-попечителя с надутыми щеками, как у разъевшегося бобра, с вислым подбородком, со слюнявой нижней губой; в алмазных звездах на мундире, однако с напрочь атрофированными честью и совестью. Евдокию же Ивановну, «принцессу ноктюрн», заужали ещё больше, считая, что она спасла незащищенную Сашеньку Россет от старого и алчного вельможи, вновь, во второй раз, унизив князя и осрамив навсегда.

Глава четвёртая

БЫЛ МАЙ, И ЯБЛОНИ ЦВЕЛИ...

I

Меня неотвратимо тянуло в голицынскую усадьбу, в «село Винстернское» — нынешние Гольцы. Я надеялся там встретить потомков Ивана Даниловича Чесенкова. Наконец в последних числах мая, обосновавшись в своём мещерском углу, я туда отправился...

Но прежде, чем описывать Гольцы, я должен поведать об иконе и о том, почему мне хотелось там побывать. Надеюсь, вы помните, как городецкий антиквар майор Базлыков убеждал меня, что икона Христа предназначена лично мне. Согласиться с

этим сразу я не мог: во-первых, опрометчиво, а во-вторых, мы всегда нуждаемся в неопровержимых доказательствах. Вы, конечно, помните и другое: объявился я в мешерской глубинке, гонимый из Москвы прокурорским преследованием за газетные публикации об inferнальном расстреле Дома Советов и о жуткой бойне, устроенной победителями на стадионе «Красная Пресня».

Следователей, обличённых чрезвычайными полномочиями, собрали со всей страны, причём достаточно молодых, амбициозных, пообещав им, судя по всему, деньги, прописку в Москве и другие карьерные и житейские блага. И вот они, как молодые волки, принялись в клочья рвать тех, кто разоблачал несправедливый режим, утвердившийся в результате преступного разгона съезда народных депутатов, то есть второго государственного переворота, устроенного Ельциным.

Это прокурорское расследование однозначно напоминало репрессии тридцать седьмого года. Так вот, перед возвращением в Москву я встал на колени перед иконой и молитвенно попросил избавить меня от расправы. Я верил, что Спаситель поможет. Так и случилось.

Перед святым ликом я, конечно, поведал обо всём том страшном, что мне открылось. Поведаю и вам. Но не о чудовищном расстреле из танковых орудий Дома Советов, о чём достаточно известно, а о том тайном, что задело меня до последних нервных окончаний — о кровавой, безумной бойне на стадионе «Красная Пресня», расположенном всего в каких-то ста метрах от так называемого Белого дома. Творилась бойня по сюжету чилийского диктатора Пиночета; пожалуй, даже похлеще...

В ночь на пятое октября тысяча девятьсот девяносто третьего года пьяные, озверелые омоновцы фильтровали на стадион-концлагере захваченных в плен защитников Дома Советов. Мало кому везло, то есть мало кому возвращали документы и, саданув прикладом, отпускали на волю. У всех остальных документы бросали в железные, огненно-дымные урны, после чего с садистским рыком тащили в глухой закуток перед открытым, безводным бассейном, отделанным голубеньким кафелем. Без предупреждения, подло приканчивали: или по-чекистски в затылок, или автоматной очередью в спину. Трупы волокли в бассейн...

К рассвету пригнали автомобильные цистерны, которые откачали кроваво-чёрную жидкость и увезли неведомо куда, а прибывшие солдаты загрузили подогнанные самосвалы безымянными трупами. Машины бесшумно скатывались вниз к Москва-реке, к причалившей самоходной барже. В ней чёрной дырой зиял пустой трюм, куда сбрасывали тела убиенных. На рассвете погребальная баржа отчалила, но из московских окон её сумели разглядеть многие, как, разумеется, и жуткую загрузку.

Руководил чудовищной расправой на стадионе «Красная Пресня» омоновский подполковник, который к концу года уже носил золотые генеральские погоны. Но Господь вскоре жестоко его покарал в Чечне...

Пятнисто-камуфляжные омоновцы 93-го года, воспитанные советской системой, это те же чекисты из 17-го, 18-го, или затянутые в ремни энкеведэшники из 37-го, 38-го годов! Выдрессированные на убийство — бездушные, безжалостные... Ельцинские же молодые прокуроры с когтистой напористостью пытались выцарапать из нас, из тех немногих, кто посмел об этом написать, фамилии или хотя бы имена нежелательных свидетелей, чтобы уничтожить их, а нас для начала объявить провокаторами.

Тогда, в промозглom ноябре 93-го года все ждали обвальных репрессий, новых массовых расправ. Но наш терпеливый, молчаливый народ на очередных выборах, затеянных торопливыми победителями в реанимированную из буржуазно-либерального прошлого *госдуму*, недвусмысленно проголосовал за оппозицию, и это сразу отрезвило вечно пьяного кремлёвского сидельца и его распоясавшуюся *демишизу*, ещё совсем недавно истерично призывавшую к расстрелу тех, кого они подло определили в «красно-коричневые», но тут страшно перепугались, — ведь сказано: ... *и аз воздам!*

Но тогда в Тульме я ещё не знал, что несправедные власти отступят, затаятся, пойдут на попятную, выпустят узников из Лефортовского централа, откажутся от суда над ними и, вообще, пожелают побыстрее забыть о кровавадно содеянном; не знал и о том, что прокурорское расследование прекращено, а алчущие жертв молодые прокуроры отправлены по домам; а потому пребывал в неведении, в душевной смуте и тяжелых раздумьях, и явленная в Городце Мещерском икона Христа Спасителя воспри-

нималась как молитвенное заступничество, и, в самом деле, как спасение.

Так оно и было.

II

Путь в Гольцы сравнительно недалёкий, километров в сорок от Городца Мещерского в сторону Старой Рязани я проехал по вековечному тракту. В Древней Руси он именовался муромским, однако, если путь лежал из стольного Киева, из Чернигова, Переяславля или Смоленска, минуя Новгород-Северский и Рязань, на дальний северо-восток — в Муром, один из древнейших русских городов, равный по летоисчислению Новгороду Великому. А если движение было обратным — из Мурома на Рязань и далее на русский юг и запад: к Днепру, Десне, Трубежу, Припяти, Сейму и всем другим рекам, текущим к Понтийскому (Чёрному) или Варяжскому (Балтийскому) морям, то чаще назывался рязанским.

При возвышении Москвы, при московском великом княжении, к Муромо-Рязанскому тракту добавилось определение почтовой — мчались по нему вперёд-назад летучие тройки! Почта в те времена воспринималась восторженно, почти как чудо; её ждали с нетерпением.

Удивительно: до сих пор старинный тракт в простонародном разговоре поименуют и так, и этак — и муромским, и рязанским, да ещё присовокупят эпитет почтовый. И всегда — уважительно.

Любит русский человек дорогу, особенно столбовую — дальнюю, многодневную. Самые заветные струны души задевает она, самые затаённые мечты пробуждает: о вольности, о счастье; о реках с кисельными берегами; о горах с золотыми кладовыми; о неведомом царстве за тридевятью земель — справедливом и богатом, где охочего путника поджидает невеста царская.

Просторы... Ах, русские просторы! Сколько же фантастических нереальностей взбредёт путнику в голову? Сколько же сладко промыслится, возбудив несбыточные желания. Сколько же раз обнадёжится русич в дальнем пути, поверив в свою путеводную звезду?

Пожалуй, каждый из нас загорался в дальней дороге пламенной надеждой на своё везучее будущее, грезил своей удачливой долей и верил, верил без лишних сомнений в свою ни на чью, ни на что непохожую судьбу, дарованную ему, и только ему необъятным Небом, самим Господом!

Ах, просторы! Ах, дороги!.. Во всю ширь, во все концы... Беспредельна земная твердь, беспределен эфир небесный... А всё это — Русь! Россия!

Между прочим, Рязанско-Муромский тракт и по сей день измеряется на особицу, тем двухсотверстным расстоянием, которое разделяет два древних приокских града. Ни потомки вятичей, ни муромы с новгородцами ничего не желают менять на своей отчине и дедине. Что ж, и этим славны!

... Голицынское поместье (бывшее, понятно) размещалось между старинным трактом и извилистой Окой, охватывая более одиннадцати тысяч десятин — полей, лугов и лесов. Но дело даже не в размерах, а в тех особенностях, которые и поныне отличают голицынские владения от всего вокруг. Их никак и ни с чем не перепутаешь — из-за сохранившейся *английскости*! Всюду чувствуется твёрдая рука Джона Возгриня, более четверти века образывавшего их на свой лад.

Я проехал по проселкам, и было такое ощущение, что оказался на Британских островах, причём в самом английском из графств — в срединном Мидлендсе. Угадывалось, как когда-то (да, теперь только угадывается!) превратили наши естественные, бесформенные леса в разумные рощи — прямоугольные, эллипсные, квадратные; проложили по опушкам и вдоль полей просёлки, стекающие к усадебному большаку, выложенному булыжником. Правда, лет двадцать назад, в годы брежневского развитого социализма, большак заасфальтировали, да только не озаботились ремонтом, а потому он потрескался, просел, покололся и повсюду возникли выбоины, поперечные канавы, которые приходится объезжать.

В давнем усадебном прошлом, ещё при Джоне Возгрине, был большак обсажен деревьями (и стояли они, как солдаты во фрунте!) — сибирскими лиственницами и дубами на поворотах. В нынешней ветхозаветности сохранились кое-где сухие лиственницы, уродливые и жалкие, а вот дубы, тоже полусохшие,

но и полуобновившиеся, — о, ещё как молодцеваты! Убрать бы лиственничный сухостой, посадить липовый молодняк, а то и дубовый, да лень, видно, и вообще неизбежно это наше российское: а-а, пойдёт! а-а, пушай!..

Поля, как и рощи, получились различной формы, но, примерно, одинаковые, средних размеров, что важно для севооборотов, а, кроме того, расчерчены, словно грифелем, полевыми просёлками. Посредине того или другого поля, или на обочине просёлка, обязательно располагается крошечный островок с развесистым, вековым деревом, в тени которого приятно передохнуть, пополдничать, а то и просто прилечь — смотреть в небо, мечтая... Типично английская забота о пахаре, понимание тяжести каждодневного земледельческого труда. Впрочем, и красиво ведь, и приятно, — и даже сентиментально!..

А вообще-то был май — тёплый, солнечный. Высокая голубизна небес с тающими облаками, но прежде всего — малахитовость земли. Зелень, куда ни глянь, будто обволакивала, будто укутывала в колышущуюся шёлковую парчу, и такое ощущение вызывал настойчивый ветерок. Легко, радостно воспринимался май: жить хотелось!

Я прошёлся по светлой дубраве, чудом сохранившейся, по гладкой мураве, помеченной золотишками лютиков, под размашистыми кронами отъединённо, распахнуто, я бы сказал, самодержавно возвышающихся дубов. Дохнуло сыроватой прохладой под рукастыми ветвями, а мощные торсы чёрномундирных стволов возвеличивали исполинов.

В самом деле, в свежей майской дубраве было прохладно и таинственно, пожалуй, даже подозрительно: будто я посягал на затаённые мысли лесных богатырей. Будто бы они, шелестя, секретно меж собой переговаривались, а моё присутствие их тревожило.

«Извините, ваши благородия... ваши сиятельства!.. Князя и графы» — прыгали весело в голове восклицания, словно дети на одной ножке, играющие в весенние «классики». Мои ироничные мысли, вероятно, отражались на лице дурашливой полуулыбкой, а я, кланяясь во все стороны, продолжал твердить: «Покорно простите, князя и графы... Я удаляюсь... Пардон! Пардон!.. Прощайте!».

И, вроде удаляясь, я забрёл в глубь дубравы, очутился на круглой поляне, которая меня не то что удивила, а потрясла.

Нет, вы такое и представить не можете!

Круглость её шла от корявых останков гигантского дуба. Я прошагал по диагонали метровым шагом — и моя дурашливая весёлость как испарилась. Боже мой, пять с половиной метров! Это что же такое? Я знал четырёхсотлетние дубы в три мужских объёма и диагонально в два с половиной шага. Выходит, эти видимые останки принадлежали тысячелетнему исполину...

Я трогал окаменевшие, обгоревшие (кому-то неймётся их выжечь, а они не горят!), упрямо торчащие исчезающим кругом гигантского ствола — тысячелетнего! Быть не может! — потрясённо думал я. — Ведь если так, то тогда это реальные деревья из времен Владимира Мономаха или даже Владимира Святого. А может быть, и ранее — из языческих времён! Сколько же тогда людей, сколько поколений перебивало на этом месте? А если представить их всех собравшимися? Вот уж невероятность! Однако... Ведь будут похожи и ликом, и статью друг на друга... И говорить будут на всем нам понятном языке!..

Неужели такое возможно — воскресение из мёртвых? Неужели, хотя бы мысленно, можно встретиться со всеми нашими предками? Из всех веков! Неужели так просто для Всевышнего — и жизнь, и смерть, и воскрешение? Неужели и такое может произойти вот в этой, в н а ш е й реальности — осязаемой, видимой?..

Тысячелетний дуб!..

О, Господи, сколько же ещё загадок, сколько тайн Ты хранишь от нас? Сколько же необъяснимого, непознанного ещё существует вокруг? И как же, Господи, порой удивляешь, а, вернее, пугаешь нас?

Да разве мог я предвидеть, разве мог представить, что набреду на останки т ы с ы ч е л е т и я, — всей нашей истории, вживе увижу саму Вечность?!

Ш

В бывшем когда-то селе Винстернском, в нынешних Гольцах, я уткнулся в мощную краснокирпичную стену. Тянулась она

с полкилометра и являла собой часть замкнутого прямоугольника. Хотя и была наполовину разобрана, с проломами, однако в сохранившейся первозданности громоздилась повыше человеческого роста, а толщиной — и пушечным ядром не прошибёшь! Крепостная! А за ней, за этой сторожевой защитой, словно спустившееся на землю облако, блистало, благоухало бело-розовое яблонево цветение.

Я свернул на обочину, вышел из машины. Заворожено смотрел в пробоину — старые корявые стволы под кипенным, с малиновыми закраинами облаком и бледно-зелёная трава, усеянная нежнейшими, будто фарфоровыми лепестками. Захотелось по-мальчишески поваляться на таком чудесном покрове, беспричинно смеясь, но сдержал себя, лишь опустил на колени, зачерпнул горсть невесомых лепестков, а потом сдул их с ладони, как пляяду майских бабочек. Было чудесно и радостно, будто детство вернулось.

Затем самым старательным образом принялся выискивать каменные останки барского дома, но нигде ничего не находил. Я был в полном недоумении. В те восхитительные минуты мне почему-то казалось, что только среди яблоневого благоухания и мог возвышаться дом с мезонином и колоннами...

Напротив, через дорогу, отступив метров на сто, тянулось порядье краснокирпичных домов, одинаковых, похоже, дореволюционных, а, может быть, ещё из девятнадцатого века, из эпохи земских реформ, — под черепичными, замшелыми крышами. Из одного из них вышла женщина в черном ажурном платке, конец которого туго обматывал шею. Хотя и была она в трауре, но нетерпение узнать хоть каплю о необычном яблоневом саде толкнуло меня к ней.

Издали по её стройной фигуре я предположил, что она не старше сорока лет, но вблизи увидел усталую, пожилую женщину, которая, казалось, навеки погрузилась в свои горести. Я смутился. Она внимательно, настороженно в меня вглядывалась, и наконец едва уловимая улыбка коснулась её, затянутых пеленой печали, глаз, бескровных пепельных губ. «Вы хотите что-то спросить?» — произнесла она ровным, благожелательным голосом. Я согласно кивнул и объяснил своё недоумение.

— Это действительно старинный княжеский сад, — подтвердила она, — но не думайте, что каменные стены сооружены от воров. Они воздвигнуты для того, чтобы ледяные зимние ветры не вымораживали деревья. Такие заградительные сооружения делаются в Англии, а управляющие у князей Голицыных, как правило, были англичане.

Она говорила чуть нараспев, спокойным, нравоучительным тоном, в той неизбывной привычке объяснять убедительно и доходчиво, какая присуща учителям, особенно младших классов.

— Сейчас в саду около двадцати сортов яблонь, — продолжала она, — но, к сожалению, яблокам не дают вызреть. А при Голицыных было более ста сортов, и никто, даже детвора, не лазил в сад. Наверное, оттого, что князья отличались добротой и ежегодно одаривали детишек яблоками, а их родителям давали саженцы. Наше село долго славилось яблоневыми садами.

— А сейчас не славится? — поинтересовался я.

— Сейчас?.. Нет, не славится, — отвечала она в грустной рассеянности. — Сейчас оно ничем не славится. Школу закрыли... И больницу тоже, прошлой осенью... Местных жителей по пальцам пересчитаешь. Только к лету Гольцы наполняются дачниками, а зимой — пустыня. Вот и меня дочь зовёт в Рязань... после смерти мужа, — пояснила она, тяжело вздохнув. — А мне не хочется. Здесь всё родное.

— Скажите, вы знаете, что ваше село когда-то именовалось Винстернским? Когда здесь управляющим был англичанин Джон Возгрин?

— Ой, не знаю, — ожила, удивившись, она. — Разве так называлось? На английский манэр? — Это слово, произнесенное вычурно, с «э» обратным, невольно заставило меня улыбнуться, а она смутилась, продолжала торопливо, сбиваясь, совсем не учительски. — Ах, если бы... да, если бы была жива Дарья Фёдоровна... наша старейшая учительница. Вот она всё знала о Голицыных... вам бы её расспросить, но, к сожалению, она умерла... Ой, что я говорю? Да-да, она умерла вскоре после моего мужа, и они покоятся рядом на Троицком кладбище... Ой, я совсем запуталась. Простите, я, пожалуй, пойду. Сегодня день его рождения; мы всегда были вместе, — прошептала она, опустив голову.

— Я могу вас подвезти.

- Ой, зачем же? Я и сама дойду.
— Но мне это ничего не стоит.
— Ну хорошо, спасибо, — согласилась она.

Пока мы шли к машине, я спросил, где всё же располагался барский дом? Она приостановилась и вдруг пронзительно взглянула мне прямо в глаза.

— А вы сами-то случайно не из Голицыных?

— Нет, никоим образом, — отвечал я, ошарашенный вопросом, но тут же выпалил: мол, занимаюсь небольшим историческим расследованием.

Мы представились друг другу. Её звали Наталья Дмитриевна Ловчева, и, как я предполагал, она оказалась учительницей начальной школы, правда, уже на пенсии.

IV

По дороге на Троицкое кладбище — по названию церкви, которой давно уже нет, — тянувшейся из Дубровки вдоль закраин Гольцов по обрывистой, высоченной гряде, соединяющей два взгорья, выступающие вперёд, ближе к Оке: Княжеское и Троицкое, Наталья Дмитриевна поясняла мне с горьким упрёком, что барский дом сожгли ещё в революцию, после гибели первого коммунара, знаменитого Семёна Силкина, который, как утверждают, охранял Ленина в Смольном и потому, как заслуженный большевик, был отправлен на родину, чтобы создать коммуну в имении князей Голицыных.

— А в красном Петрограде, — говорила она, — Силкин прославился тем, что донёс на княжну Софью и на сестру милосердия Мотю, которую приютила княжна. Их обеих взяли в заложницы, и они навсегда исчезли в ЧК. Он, этот несносный Семён, и здесь, в Гольцах, прославился: донёс на соседского помещика, полковника Лосева, которого растерзали в Городце Мещерском. Тоже чекисты. Но и его самого, то есть Силкина, потом покарали. В общем, память о нём недобрая.

— И как же его покарали? — спросил я.

— Да зверски убили! — позлорадствовала Ловчева. — Даже голову отрезали. А на поминках, — продолжала, — коммунары перепились и сожгли барский дом, где устроили свою коммуну.

Больше, слава Богу, она не возобновлялась. Но коммунары, эта отборная гольтьба, ещё много дерзкого натворили: ограбили обе церкви — Успенскую на Княжеском взгорье, а затем и Троицкую. Они и княжеский склеп вскрыли и ограбили. Прямо-таки сатанинское племя: что хотели, то и творили. — Впрочем, — вздохнула она тяжко, — и сейчас не лучше: та же грабилька. Только нынешние грабители называют себя демократами. Ох, Господи, за что же такие напасти на нас?

Я слушал Наталью Дмитриевну и у меня было очень странное чувство — будто не я её случайно встретил, а она меня давно поджидала, чтобы излить свою измученную душу. В любом случае наша встреча выглядела будто бы давно намеченной, будто бы нечто большее нас объединяло.

Глава пятая

НА ТРОИЦКОМ ВЗГОРЬЕ

I

Троицкое взгорье от последних изб Гольцов располагалось примерно в километре. Впрочем, под взгорьем местные жители понимали пологий полевой подъем, уходящий в небо, куда и устремлялась по обрывистой гряде дорога. А короткий свёрток от неё ближе к Оке, довольно высокий и довольно объёмный, напоминающий лежащего медведя, был не то естественный холм, не то искусственный курган, — возможно, и древний могильник.

Там, на плоской вершине, чуть ли не тысячу лет — от самого крещения Руси — примостился Троицкий монастырь, известный на всём великом окско-волжском пути, торговом и воинском, — к хазарам, булгарам, арабам и в Золотую Орду. Был этот Троицкий холм ещё и погостом, где хоронили монахов, иногда знатных граждан и изредка путников. Для рядовых же селян, чуть поодаль, в березовой роще, размещалось родовое кладбище, где под дубовыми крестами лежали землепашцы и ремесленники — в по-

колениях! Правда, к концу девятнадцатого столетия появились именные могилы под белокаменными саркофагами с выбитыми именами, датами и евангельскими строками.

Ныне кладбище в берёзовой роще в полном запустении, в замшелости, и славится лишь одним: мухоморами необыкновенных размеров и красоты. Кроме красно-, фиолетово-, буропятнистых мухоморов, как заметила Наталья Дмитриевна, никакие другие грибы там не растут.

Вообще-то, в нынешних угасающих Гольцах вместо двух церквей с колокольнями на двух взгорьях — Княжеском и Троицком, радовавших взоры и путников, и местных жителей, слышимых на пол-Оки, особенно когда случались праздничные перезвоны, и взбудораженные, горделивые звонари устраивали вдохновенное соперничество — ох, какая колокольная симфония звучала в поднебесном окоёме во славу Господню! Однако при Советской власти на взгорьях утвердились два вознесенных к небу могильника, два кладбища: Успенское, вернее, Почётное — на Княжеском взгорье и Троицкое — для всех, в размерах старинного монастыря.

На Почётном, понятно, первыми были похоронены неистовые коммунары, комбедовцы, а затем уполномоченные, парторги, председатели колхозов и сельсоветов. Кстати, могилы коммунаров украшены чёрным мрамором с голицынских часовни и склепа, ну а все другие обустроены по-разному, согласно периодам советской истории, но обязательно с прижизненными фото и, естественно, без креста. Там же поставили и обелиск-стеллу воинам, погибшим в Третью Отечественную войну.

Я не оговорился. Во имя истины и восстановления исторической правды следует заметить: п е р в о й Отечественной войной у нас именовалась война против наполеоновского нашествия в 1812 года; в т о р о й — и именно это я хочу подчеркнуть — война против германского империализма, вознамерившегося отнять от России Украину, Прибалтику и другие территории, век спустя, хотя для большинства стран это была лишь Первая мировая война. Т р е т ь е й Отечественной войной являлась битва с фашизмом в 1941-1945 годах, но для тех же Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и других, это была опять же всего лишь Вторая мировая война.

Мне думается, ради справедливости, во имя памяти всех, сражавшихся и умиравших за Отечество, эта историческая классификация исключительно важна, особенно сейчас, когда после поражения в Третьей мировой (40-летней «холодной войне») идёт, пока невидимая, четвёртая Отечественная война — за спасение Родины, за выживание всех православных, всех русских как нации.

II

Наталья Дмитриевна Ловчева рассказывала о двух взгорьях мёртвых — Почётном и Троицком — покорно, без возмущения, однако с убийственной иронией. И получалось: все великие социальные преобразования в Стране Советов завершились в конечном итоге очередным кладбищенским неравенством — и ничем больше...

Нет, не хотелось бы углубляться в эту тему. Не знаю, какими неведомыми путями пришли мы к демографической катастрофе, к повсеместному массовому вымиранию, особенно старших поколений. А ведь это те самые буйные, неистовые строители социализма, самого счастливого строя на земле — земного рая! И чем же обернулась вся их неподъёмная, невыносимая, немыслимая работа — запустением?.. дорогой в никуда?.. Да, великой трагедией!

Печально всё это сознавать. В самом деле, печально... Они ведь умели побеждать! Умели совершать невозможное. Умели всегда и во всём быть первыми...

Отчего же так банально всё кончилось? При нас, их потомках... Да, у тех, кто жил окрылённо, кто верил в чудеса, кто поступал мужественно, был самопожертвенным... Кто на развалинах Российской империи сумел воздвигнуть более величественное, величайшее государство — сверхдержаву! И отчего всё же она так постыдно, так позорно рухнула? По подлой воле всего лишь трёх недостойных её выкормышей?..

На кладбищах, не знаю, как у вас, а у меня наступает просветление, возникает непривычная ясность в мыслях, находятся ответы на те вопросы, которые казались неразрешимыми. Да, именно там я постиг ясный ответ на самый главный вопрос: отече-

го позорно рухнул великий Советский Союз и почему он никогда больше не возродится?

Сначала я понял, что он рухнул изнутри, и лишь потом рассыпался на суверенитеты. Но, однако же, по-че-му? Да просто потому, оказывается, что жили мы по ненависти. Да, по не-на-вис-ти... А ведь это и есть та дьявольская энергия, которая и горы сдвигает, и реки останавливает... Будто бы преобразует, а по существу разрушает. И прежде всего — человека, носителя ненависти.

Любой может представить, сколько энергии, скажем, в бешенстве. А ведь это — сгусток ненависти. Удерживать такую энергию долго нельзя — она испепеляет. Она опустошает полностью, исчерпывает до дна. Более того, обездушивает людей, превращает в механические существа — в рабов! в зверей! Да, именно так. Всех, абсолютно всех, кто живет по ненависти.

Между прочим, ненависть во всех своих проявлениях красива, и даже завораживает. Парадоксально, но факт, и при некрсивости красива! Но вот иссякают силы генерировать ненависть, и всё — пустота, злоба, мстительность. И проклятая смерть — без покаяния, без прощения...

Такие вот мысли частенько возникают у меня в «городах мёртвых» — на кладбищах. Знаю, и у многих других. Потому что неизменна и никогда, ни при каких обстоятельствах неотменима Божественная воля и заповедь Христа — от начала и до скончания века:

любите!.. любите!.. любите!..

Вызов Богу — ничто. Лишь красивые жесты. Да, красивые, гигантские мухоморы на грешных человеческих костях!

Ш

Мы стояли с Натальей Дмитриевной около уцелевших белокаменных столбов: когда-то они держали монастырские ворота. На одном из них сохранился створ — тяжелая чугунная вязь. Перед кладбищем топорщилась в ядовито-зеленой крапиве кирпичная груда порушенной Троицкой церкви.

За ней — хаотично, скученно располагались могилы в высоких и низких оградках, где узорчатые кресты соседствовали с

звёздными пирамидками или гранитными плитами. Над ними повесенному кокетливо раскудрились берёзки; отливали малахитово-салатным блеском острозубчатые листочки на тугих стеблях зацветающих рябин; в ухоженных цветниках ласкали взор бархатисто-нежные, восторженно-детские анютины глазки.

Перед нами внизу в приречных лугах расстилался роскошный ромашковый ковёр; серебрилась ширь Оки; блистали зеркала утиных стариц, а напротив, на уровне глаз, распахнуто открывалось Княжеское взгорье с ландшафтным парком, спускавшимся к пустынному причалу. В неизмеримой дали вырисовывался дымчатый горизонт; а над всем этим, по окружности, возвышался бездонный аквамарин небесного купола, подёрнутый прозрачной кисеей тающих облаков.

— Наверное, хорошо усопшим на такой высоте, — вырвалось у меня.

— Да, красоты у нас замечательные, — согласилась Наталья Дмитриевна. — Взгляните: какой простор повсюду! А какие тут бывают закаты — не налюбуйешься! — Вздохнув, погрузилась: — Только кому теперь радоваться? Усопшим, как вы выразились? Наверное. Однако полноценная жизнь угасла. Вообще, у меня такое ощущение, что в России всё кончилось.

Я промолчал, не согласившись с её пессимизмом, а она, опять вздохнув, заключила покорно и тихо:

— Ну вот, теперь можно и расстаться.

— А где могила вашего мужа?

— За церковью. Немного в стороне.

— Можно мне с вами пройти к ней?

— Пожалуйста, если желаете, — удивилась, пожала плечами она.

— Странное дело, — заметил я, когда мы пробирались по какой-то замысловато-ломанной линии между могильными оградками, — нигде в такой завершённости не представлены все основные фамилии данной местности, как на кладбищах.

Она обернулась и подозрительно взглянула на меня.

— Наверное. А вы, похоже, неслучайно пожаловали в наши края. Что же вас интересует? Какая фамилия?

— Меня действительно интересует одна фамилия, — признался я.

— Какая же?

— Чесенковы.

— Боже, как странно! — воскликнула Наталья Дмитриевна и осеклась. На её лице появилось выражение недоумения и даже страха. — Именно Чесенковы?

— Да, именно.

— Тогда вам надо идти на старое кладбище. Там много Чесенковых. А здесь, на Троицком, только одна Дарья Фёдоровна... — и осеклась.

— Это та учительница, которая хранила предание о Голицыных?

— Да-а, — неприветливо и сухо подтвердила она и возмущенно потребовала: — А, собственно говоря, что вам у нас нужно?

Я кратко рассказал об иконе. Очень обтекаемо заметил: мол, хоть это и подарок моего хорошего знакомого, но надпись на ней меня смущает.

Наталья Дмитриевна слушала внимательнейшим образом, не перебивая, поджав бескровные губы, и тербила волнительно кончик траурного платка.

— Что ж, — произнесла строго, осуждающе, — теперь мне понятно, кто её украл.

— Она краденная?! — вырвалось у меня. Подтверждались самые худшие мои опасения.

— Да, это сделал Женька Норкин, вор-рецидивист. Его опять упекли за решётку. Кажется, в седьмой раз.

— И когда же это случилось?

— Что «случилось»? — недовольно уточнила она.

— Я имею в виду кражу иконы.

— На Рождество, в начале января. Женька — племянник Дарьи Фёдоровны — пояснила Ловчева. — А Сёмка Силкин, когда явился, так угрожал убить Женьку, обыск с милицией устроил в его пустой развалюхе. Но тот, значит, уже успел часть краденного сбагрить. Ведь он украл ещё и старинный пистолет, который Дарья Фёдоровна всю жизнь прятала от Сёмки и завещала мне передать в музей.

— Простите, Наталья Дмитриевна, выходит, Дарья Фёдоровна владелица иконы? — уточнял я о своём.

— Ну да, да! — всполошилась она. — Кто же ещё? — Однако сообразила, что мне это не вполне понятно, а потому смягчилась: — Впрочем, откуда вам-то знать? А икону попросила меня отдать Семёну. Всё надеялась, что, может быть, он образумится.

— Вот, оказывается, какова истина, — вздохнул я. — Значит, Дарья Фёдоровна Чесенкова.

— Да она-то и была последняя Чесенкова, самая настоящая. Да, самая настоящая, — повторила она. — Дочь Хромого доктора Фёдора Филипповича Чесенкова. Он был первым доктором в нашей Гольцовской больничке, сам её обустроивал, но судьба у него трагическая: погиб не по своей воле.

— А кто же погибает по своей воле? — осторожно заметил я, чтобы подтолкнуть её к откровениям.

— Это так, но только погиб он как враг народа на Соловках. Знаете такие острова в Белом море?

— Кто же не знает изначальный ГУЛаг? А за что же его осудили?

— Этого никто не знает. Даже сама Дарья Фёдоровна не знала, хотя обращалась в органы. Мы с ней предположили, что просто ОГПУ выполняла план по врагам народа, — саркастически бросила она, горько усмехнувшись, и я понял, что она не настроена продолжать эту тему. Решил уточнить о Семёне Силкине, уже не то что подозревая, а убеждённо догадываясь, что это тот самый разухабистый господин в антикварной лавке, который стрелял из «пистолета Дантеса», не представляя, что он наследственный. Я только теперь понял, чего не договаривал антиквар Базлыков, принявшийся так настойчиво дарить мне икону. Наследник-то с пьяных глаз просто её не углядел. Ныне же я оказался в достаточно непростой ситуации.

— Скажите, Наталья Дмитриевна, а Семён Иванович Силкин тоже является племянником Дарьи Фёдоровны Чесенковой?

Я специально вставил в свой вопрос отчество Силкина для подтверждения неприятной, уже угнетающей мою совесть догадки. Но Ловчева восприняла это как само собой разумеющееся.

— Нет, Семён Иваныч... — и тут она возмутилась: — Да никогда не буду его величать по имени-отчеству! Сёмка он для

меня — и всегда так будет! В общем, Сёмка — это её единственный сын.

— Сын? — поразился я. Это ещё более осложняло ситуацию, делало её совсем непростой. По инерции спросил: — Но почему же он Силкин?

Мне Дарья Фёдоровна представлялась незамужней старой девой, той убежденной сельской подвижницей, которая всю себя отдала делу народного просвещения. Ох, как же всё-таки кинематограф может утвердить непререкаемый образ «сельской учительницы»!

— Да, её сын, — недовольно подтвердила Ловчева. — А на похоронах матери не был!

— Не был? Почему же?

— А завертелся в своих похождениях, — с презрением бросила она. — Нигде не могли разыскать. Потом лишь, узнали, что он в Ленинграде. Боже, теперь ведь переименовали в Санкт-Пэтэр'бурх! — И опять иноязычное слово прозвучало в её произношении с «э»-оборотным и смягченно. — Кстати, там у него много родственников — и именно Чесенковых. Инженерá, врачи. Все образованные! Их там ещё молодая княжна Голицына привечала, Софья Владимировна.

— Вы даже полностью помните её имя?

— Что ж здесь такого? Она святая мученица. Мы с Дарьей Фёдоровной в поминальные дни всегда ей в церкви свечечку ставили. Да ещё Мотеньке Чесенковой. Их обеих расстреляли в Чека как заложниц. По доносу Сеньки Силкина, нашего первого коммунара. Он в Смольном служил у Ленина с Зиновьевым. Ах, я ведь уже об этом упоминала!

— И что, он имеет отношение к нынешнему Семёну Силкину?

— Да дед же его!

— Странно у вас всё переплелось, — поразился я.

— А не разыскали, — возмущалась Ловчева, — потому, что он заваялся в Таллин, никому ничего не сказав. С этими самими, ну, сами понимаете...

— С чем? С товарами?

— Да нет же! Ну, с этими самыми... лохудрами! Очень уж он падок до похоти. И вздорный, как все Силкины. Может быть, кроме отца. Он без него рос.

— Без отца? А почему?

— Ну как же! Отец на фронте погиб. Между прочим, с моим отцом, Дмитрием Архиповичем Головиным. Их на сборы в мае сорок первого призвали, а в августе они уже были убиты под Киевом. Они закадычными друзьями были, — с тихой печалью вспоминала Наталья Дмитриевна. — Вместе Городецкий учительский техникум кончили, как и Дарья Фёдоровна. Только в разных сёлах учительствовали. Но они на велосипедах чуть ли не каждый день друг к другу ездили. Поделиться школьными делами, но главное — сердечными тайнами. Так и погибли вместе. В одном бою. В одной братской могиле похоронены. И даже в один день нам похоронки на них принесли. Вместе рыдали, мы же соседи... — И она смахнула слёзы, перекрестилась на развалины Троицкой церкви, заметив: — Ангел Господень и порушенную церковь оберегает.

— Грустная история, — вздохнул я.

— Ах, сколько таких историй по всей матушке-России! Не перечтёшь, не перескажешь. Мы ведь горькое поколение — сплошная безотцовщина. Повсеместная. Разве не так?

— Так, конечно.

— А незабвенная наша Дарья Фёдоровна, святая душа, всё мечтала на мне Сёмку женить. Всё верила, что я его образумлю, человеком сделаю. Но я его терпеть не могла, просто ненавидела: такой оказался подлый и хулиганистый. После армии женился на татарке. Привёз её показывать, а с матерью — обморок. — Помолчав, посветлев ликом, добавила: — А ко мне Дарья Фёдоровна относилась как к дочери. Моя мать ещё в войну замуж выскочила и переехала в Спас-Клепики. А я с бабушкой осталась в Гольцах... Да, как к родной дочери, — подтвердила она.

IV

Незаметно мы оказались у могил агронома Ловчева Николая Трифоновича и учительницы Д. Ф. Чесенковой-Силкиной. С цветного фото на белогранитной плите улыбался молодой, свет-

ловолосый Ловчев. Было ему лет тридцать пять: весь энергия и устремлённость, хотя даты жизни перешагнули за пятьдесят. Но только таким хотела навечно запечатлеть мужа Наталья Дмитриевна, — и, наверное, была права.

«Коленька! — прошептала она и завсхлипывала, упала на колени. — Родной мой!..»

На могиле Дарьи Фёдоровны стоял деревянный крест со стальной пластиной и лежало почерневшее, замшелое белокаменное надгробие — очень давнее, с неразличимой надписью и чем-то тяжёлым иссечённое. На макушке креста сидела желтогрудая синичка и суетливо, настороженно поглядывала на меня. Наконец вспорхнула, тревожно просвистев, но не улетела, а тут же опустилась на ловчевскую оградку. И опять беспокойно, торопливо посвистывала, и мне чудилось, что она задает вопросы и чего-то от меня требует.

«Коленька, как же мне одиноко! — всхлипывала Наталья Дмитриевна. — Как мне пусто без тебя».

«Тью, тью... фью-ю-ю», — требовала синичка и перелетела на иссечённое надгробие.

Я растерялся. Честно говоря, пожалел, что пошёл к могилам: что мне действительно здесь нужно?

А синичка металась: взлетала, посвистывая, — коротко, тревожно, как бы морзянкой; опять опускалась на крест, на изгородь, на замшелый камень; и всё — «тью, тью... фью-ю-ю...». Посвист её становился протяжным, будто произносила фразы. Конечно, я ничего не понимал, кроме единственного — ко мне она обращалась, ко мне! Но как раз это-то и вызывало необъяснимое чувство беспокойства и виновности.

Наконец и Наталья Дмитриевна обратила внимание на метавшуюся синичку и как-то незнакомо, отчуждённо, я бы даже сказал **п о т у с т о р о н н е** остановила на мне замутненные, полные слёз, глаза. Её немигающий, невидящий взгляд, обращённый в нечто запредельное, ведающий то, что мне было недоступно, что являлось от меня сокрытым, не столько напугал, сколько загипнотизировал. Я онемел, а она бледно-голубоватыми пальцами смахнула слёзы, как бы выдавила их из-под прикрытых век, и, как ведунья, снисходительно усмехнулась.

— Отчего вы напугались? Это же не синичка, а душа Дарьи Фёдоровны мечется, — объявила всезнающе. — Вы же к ней явились? Так и рассказывайте.

— О чём? — растерялся я.

— Как «о чём»? Она хочет знать, что вы сделаете с иконой? Отдадите в церковь или вернёте сыну?

Со мной говорила совершенно другая женщина: убеждённая в своей правоте, не допускающая никаких возражений, никакого снисхождения. Эта д р у г а я Наталья Дмитриевна не вызвала симпатии. Я вообще, не люблю требовательных натур и никогда им не подчиняюсь. Более того, всё делаю наоборот. С какой стати вдруг эта малознакомая женщина взялась меня к чему-то принуждать, определять мои поступки. Я сам смогу решить, что правильно и справедливо.

— Ни о том, ни о другом не успел ещё подумать, — ответил я ей отстранённо и сухо, а на душе сделалось вдруг противно, потому что лгал: ведь о том, и о другом давно думал. Именно это и привело меня в Гольцы.

В тайниках души боялся узнать, что икона ворованная. Но надеялся и на то, что, может, и проданная самим владельцем. Однако случилось худшее: икона ворованная и, следовательно, не исключено, что её придётся вернуть законному наследнику, причём, помня о его замашках, наверняка с грандиозным скандалом и унижительными неприятностями.

Удивительно: синичка сидела на кресте застывши и не пошвыстывала. Вероятно, тоже ждала моего ответа. Я понял, что отвечать надо. Высказался так:

— В церковь отдавать икону не собираюсь. Хотя бы потому, что она домашняя, к тому же именная. Значит, придётся отыскать нелюбезного Семёна Ивановича Силкина и объясниться с ним. Но, честно говоря, он мне не внушает доверия.

Я взглянул на крест — птичка исчезла. Это было невероятно! Но и Наталья Дмитриевна переменялась: как бы онемела, выглядела отрешённой. Я ждал. Она молчала и, казалось, ничего не слышала, не замечала.

— Вы знаете его адрес? — обратился я к ней. Она не ответила. — Хорошо, я сам его разыщу. Меня ведь подобное обстоя-

тельство тоже смущает. — Она не шевелилась, уставившись в землю. — Ладно. Я вам очень благодарен за всё. Прощайте!

Наталья Дмитриевна не ответила, словно я не с ней разговаривал. Поколебавшись, пошёл прочь — к развалинам Троицкой церкви, к машине у белокаменных столбов, на одном из которых поскрипывал от лёгкого ветерка ржавый, узорчатый створ. Я уже садился за руль, когда услышал отчаянный крик: «Погодите! Погодите!..» Она задыхалась от торопливой ходьбы.

— Заклинаю вас! — вскрикнула отчаянно. — Заклинаю! Ни в коем случае... Нет! Ни в коем случае!.. Нет, не отдавайте ему икону. Не отдавайте! Ни за что! И простите меня. Простите, ради Бога.

Слёзы вновь наполнили её выцветшие, блекло-голубые глаза, и она, смахивая их нервными пальцами, перекрестила меня и молча, медленно побрела обратно.

— Наталья Дмитриевна! — Я выскочил из машины, нагнал её. — Наталья Дмитриевна, я поступлю так, как вы считаете нужным.

— Ладно. — Она продолжала всхлипывать, как девочка — жалобно и потерянно. Неожиданно произнесла странную фразу: — Дарья Фёдоровна тоже так считает. Не ищите его.

— Хорошо, не буду, — пожал я плечами, соглашаясь.

— Заклинаю вас. Дарья Фёдоровна сказала: пусть будет так, как есть.

— Хорошо, пусть будет так, как есть, — повторил я в полном недоумении.

— Ну, а теперь прощайте, — произнесла Ловчева.

— Пойдите, Наталья Дмитриевна. Ответьте мне, пожалуйста: почему на могиле Дарьи Фёдоровны лежит старинное надгробие? — решил выяснить я, о чём думал спросить, но забыл.

— Ах, этот саркофаг? — с лёгким небрежением ответила она. — Так ведь прапрадеда! — уточнила она, повеселев. — Между прочим, ему принадлежала и икона! Сам князь Голицын подарил. Вы надпись, конечно, читали?

Я потерял дар речи. Наконец, запинаясь, вымолвил:

— Там... что там... да, там... был похоронен сам он... Иван Данилович Чесенков?

— Нет. Не совсем так. Но он, всеми уважаемый человек... Он на церковь жертвовал... Монастырь-то ещё при Екатерине Второй закрыли, — путаясь, принялась объяснять она. — В общем, он был погребён здесь, в ограде Троицкой церкви. Тогда это был, для таких, как он, высший почёт. Но в революцию церковь порушили, а кладбище обезобразили. Кресты повалили, а саркофаги по домам растащили, для хозяйственных нужд.

Я стоял остолбеневший, не в силах вымолвить слова.

— Однажды этот Сёмка, — продолжала она. — Мы тогда в шестом классе учились. Так вот, он с Женькой Норкиным на их подворье в картишки резался. На этом вот самом камне. Потом им наскучило, и они решили прочесть надпись. А вечером Сёмка матери говорит: мол, твоя фамилия на старинном камне выбита, может, наш родственник? Дарья Фёдоровна сразу догадалась. Прямо по ночи побежала к Норкиным и потребовала отдать надгробие. Потом оно у них в сарае хранилось. А когда она умирала, то попросила его к ней на могилку положить. Всё-таки где-то там в земле они рядом лежат.

— Невероятно, — только и вымолвил я.

— Чего же тут невероятного? — удивилась она. — Вся наша жизнь давно переломана.

— Нет, всё же невероятная история, — повторил я.

— Ну, думайте, как хотите, а для меня — даже очень обыкновенная.

Мы попрощались. Всю обратную дорогу из Гольцов в Тульму я неотвязчиво радовался тому, что таким удивительным, нет, таким чудесным образом разрешился нравственно мучительный для меня вопрос с иконой. Ведь мы вдвоём были с ним, с прямым, казалось бы, наследником в базлыкской лавке древностей, а нет, ему она не открылась. А теперь вот как бы из загробного мира нисходило мне на неё благословение...

Однако понять т а к о е мне не достаёт душевных сил.

Глава шестая

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

I

Прошло три с половиной года...

Увядающей в золотом багрянце осенью, сразу же после Крестовоздвижения, в самом конце сентября, я отправился, можно сказать паломником, на рязанское городище. Мой неугомонный приятель, поэт Вячеслав Счастливов, затеял издание ежемесячной исторической газеты «Звонница», а потому навестил меня в Тульме, чтобы убедить к 760-летию (надо же!) героической гибели Рязани (?..) написать очерк, но лучше «широкоохватные размышления».

Доказывал: мол, хоть и столь далека трагедия, но по прошествии веков остаётся в русской памяти непроходящей болью.

Что ж, не согласиться с ним было нельзя. Правда, в работе у меня была неоконченная повесть, а прерывать ежедневный, да что там, ежечасный труд над большой вещью опасно: теряешь нити сюжетного развития; логику поступков ещё не устоявшихся, зачастую прозрачных персонажей; саму неповторимую атмосферу сочинительства. Населяя и оживляя чистые листы бумаги, лучше весь творческий путь пройти в упорной непрерывности, не останавливаясь, от начала и до конца. Ведь если вспоминать, то невольно вздохнёшь оттого, что немало произведений именно по причине остановок так и остались недописанными, безнадежно угасшими, к которым вряд ли когда-либо вернусь.

Но вот парадокс: иногда просто невозможно не остановиться и прежде всего в работе над большой вещью, потому что начинают возникать ложные ходы, непредвиденные затруднения, будто кто-то свыше весело поигрывает с тобой, а то и загоняет в беспросветный угол. Тут-то и следует прерваться и заниматься чем угодно, пока наконец-то не блеснёт прозрением выход из сумеречного тупика. Именно в такой затруднительный момент и явился ко мне Вячеслав Счастливов.

Всегда удивляюсь его абсолютно рязанской фамилии, идущей от определения. Например, такие: Малов, Немов, Кривов, Гиблов, Смелов, Курчавов, Сильнов, Вольнов и во множестве подобных, а потому постоянно иронизирую: мол, нет ничего счастливее для поэта, чем быть... Счастливым! Конечно, моя ирония ему неприятна и, должно быть, обидна, но никак не могу удержаться. Впрочем, он и сам знает, что настоящих, больших поэтов со счастливой судьбой, пожалуй, и не сыщешь. Истинные, большие поэты всегда живут мучительно и редко уверены, что их выстраданные строки не уйдут вместе с ними из прихотливой людской памяти. А вот жаждущих поэтической славы, в общем-то, рифмоплётов, пребывает в мире чрезвычайное количество, и все они в своём занятии, как ни странно, счастливые люди.

К сожалению, Вячеслав Счастливов в поэзии принадлежал к этому чрезмерному большинству, а потому моя ирония, по сути, была верна, а вот по правилам поведения, безусловно, неуместной. За что, в самом деле, обижать хорошего человека? За неумение творить вечное? За то, чего ему попросту не дано? Нет, несправедливо.

Человек же Вячеслав Счастливов действительно хороший: добрый, отзывчивый, прямодушный, а главное — зажигательный, вдохновенный на любые дела и по-детски наивный в их осуществлении, то есть всегда оптимистичный! Ведь вот затеял такое сложное издание как историческая газета. Ради чего? Прежде всего, объяснял, чтобы пробудить историческую память в соотечичах, чтобы внедрить в массовое сознание памятные имена и даты, чтобы и современников вдохновить на дела достойные, внушить им самоуважение, а, если потребуется, то и самопожертвование.

Горячо доказывал мне Вячеслав Счастливов: мол, книги серьёзные, а тем более исторические тома, сейчас при наличии телевидения мало кто читает, а вот газету, ставшую привычной в житейской практике, обязательно будут почитать, а, значит, просвещаться и прозревать. Святая вера! Но ведь убедил толстосумов пожертвовать деньги, причём немалые, и неумолимо взялся организовывать авторов.

Нет, по жизни он всё же поэт — без огляду кидается в неведомое, с убежденной верой в удачу. Одно слово: С ч а с т - л и в о в! Как же ему отказать? Да никак нельзя!

Разве только я поддаюсь его напору? И разве только в делах литературских? Вот взять хотя бы его достижения на донжуанском поприще, о чём он, конечно, не применёт похвастаться. Порой так всезнающе выскажется о начинающей поэтессе или молоденькой журналистке, что и сомневаться не приходится в интимной связи. А тут вдруг завёл «донжуанский список»: мол, чем я хуже великих? Шутит: «Хоть в этом буду им равным!» — «Кому же?» — «Да хот Александру Сергеевичу!» — и залиvisto хохотал.

Впрочем, чего ж от него ждать, дважды разведённого? Правда, в Городце Мещерском у Вячеслава случился сбой. Потому-то и зачастил он сюда. Ныне штурмует, по его словам, «неприступный бастион», но «пока безуспешно». А «бастион» этот — Лара Крыльцова, заведующая краеведческим отделом городской библиотеки, где он подвизался вести поэтический семинар.

Я, между прочим, ему очередного любовного успеха не желаю. Честно говоря, даже тайно ревную. Мне самому и давно по душе Лариса Григорьевна, а попросту Лара, женщина умная, весёлая, с которой одно удовольствие пообщаться. Правда, у неё, как у многих, не очень благополучно сложилась семейная жизнь: муж запойный пьяница, опустился, ушёл к матери, и вот ей одной приходится воспитывать сына. В общем, соломенная вдова.

Но всё равно «нет!» — она совсем не подходящая «жертва» для Славиных похотливых устремлений. И я стараюсь всё сделать, чтобы Лара не поддавалась чарам залётного Дон Жуана. А он, видите ли, готов «хоть в третий раз жениться!» Как только затевает разговор о ней, а это случается при каждой нашей встрече, так обязательно начинает с романса из кинофильма «Разные судьбы» — помните? ... *отчего ты мне не встретила...* в те года мои далёкие?..

Что ж, Лара, Лариса Григорьевна, всем нравится: статью, душевной отзывчивостью... Ну да ладно, вернусь к газетной просьбе Вячеслава: мне вдруг и самому захотелось непременно вновь побывать на удивительном *княжеском столе* Старой Рязани. Горнее плато, на котором когда-то красовалась золотоку-

польная Рязань, пожалуй, самое вдохновенное место на окских крутых берегах. Там вовсю распахивается Русская Земля и Русское Небо. Именно там — и мне давно об этом думается — может быть возрождён общерусский святой град, возникнуть общерусский святой храм: для покаяния и прозрения, во имя нового возвеличивания Родины.

II

За Городцом Мещерским, а выехал я с рассветом, на Рязанско-Муромском тракте неожиданно для себя обнаружил новую автозаправку. Оказывается, давно не наведывался в эту сторону. Ох, как неостановимо, как суетно и незаметно летят эти сумасшедшие 90-е годы!

Автозаправка выглядела необычно: черно-серебристо-зеленая. Над конторкой из огнеупорного кирпича торчали три загадочные буквы — «ОРД». Я не преминул свернуть, чтобы наполнить бензобак, а заодно и узнать, откуда она взялась? И что это такое — О. Р. Д.? Мелькнула догадка: неужели господин Силкин укоренился? Должна же наконец-то приватизированная им нефтебаза занять стационарную заправку? А с буквами, подумалось мне, он, как всегда, попотешничал: мол, Очень Разумное Дело, то есть О. Р. Д.

В окошечке кассира-оператора я увидел — о, Боже! — я узрел антиквара Базлыкова. Он был одет в униформу цвета маренго, отделанную серебряной окантовкой, с зелёным нагрудным знаком и теми же самыми буквами — О. Р. Д.

Мы смотрели друг на друга неверяще, растерянно. В этот ранний час на автозаправке не было никого, кроме нас, да и шоссе оставалось пустынным. «Здрассте», — наконец выдавил я. Он ответствовал: «Приветствую вас». Я молча расплатился и ещё раз вопросительно взглянул на него. Он молчал. Я заправил машину и уже собрался уезжать, как Базлыков выскочил из своей конторки.

— Неужели нам не о чем поговорить? — вымученно улыбнулся он.

— Однажды мы с вами столкнулись в Городце Мещерском, но вы даже не захотели меня узнать. Тогда я решил, что вы не желаете больше поддерживать знакомство.

— Было такое. И сделал это умышленно, — подтвердил он откровенно, по-военному чётко.

— Отчего же так?

— Не хотел, чтобы нас засекли.

— Чего же боялись?

— Долгая история.

— Это ваша заправка?

— Нет, не моя.

— А чья же? Неужели господина Силкина?

— Не совсем. Но зарегистрирована на его имя.

— Странно. Ну ладно, а вы-то как здесь оказались?

— Предопределено судьбой.

— Судьбой, или тем же Силкиным?

— Думайте, как хотите.

Мы опять недоверчиво, внимательно осмотрели друг друга: он к тому же — крайне настороженно, а я — всё с тем же подозрительным недоумением.

— Отгоните машину к «Шиномонтажу», — торопливо предложил Базлыков. — И заходите ко мне. У нас ещё есть время поговорить.

— У меня всегда найдётся время, — ответил я.

— Не будем его терять, — нервно заметил он, тревожно оглянувшись по сторонам.

В своей негораемой конторе, изнутри ощущаемой как бункер, он усадил меня к фасадной стене, наверное для того, чтобы из окошечка никто не углядел. Во всех его действиях угадывался тревожный испуг, если не сказать больше: едва преодолеваемый страх.

— Вы едете в Гольцы? — сразу ошарашил непредвиденным вопросом.

— С чего вы взяли?! — изумился я.

— Простите. Знаете, если в детстве ошпаришься, так потом всю жизнь на холодную воду дуешь, — жалковато усмехнулся он.

— Как вы всё-таки здесь очутились? Ведь большие деньги крутятся. Вам теперь Силкин доверяет?

— Всё по той же причине, — глухо ответил он. — Вы зря на меня сердитесь. Я ведь вас спасал.

— Меня спасали?! — вновь изумился я. — От кого? От чего?

— От того же самого Силкина. От мстительного Пупыря.

— Кто такой Пупырь?

— Ах! Да наш общий знакомый.

— Господин Силкин?

— Да, да, — нервничал он.

— Значит, теперь вы всё-таки у него служите? — упрямо настаивал я.

— Формально у него, а по существу нет: у Ордыбьева.

— Однако Пупырь — подходящая для Силкина кличка, — снисходительно заметил я. — И по внешнему сходству, и по наглой пройдошливости.

— Не совсем так, — мягко возразил Базлыков. Он принялся объяснять. Оказывается, кликуха Пупырь возникла совершенно по иной причине. Пользуются ею лишь в очень узком кругу. Поэтому лучше сразу забыть, заметил он. Приклеилась она к Силкину оттого, что он патологически ненавидит «интилихенцию» и «офицерье». И тех, и других он презрительно именуется «пупырями», исказив понятие «пуп земли». Так вот, в насмешку всесильный Ордыбьев окрестил и его самого Пупырём.

— Что ж, — сказал я, — презрение господина Силкина к интеллигенции я испытал на собственной шкуре, но к военным-то отчего у него неприязнь?

— Э-э, видно, в армии сурово повоспитывали.

— Что ж, я отлично помню, как он изощрялся, унижая вас.

— Тогда были цветики, ягодки потом...

Он рассказал, что вскоре после позорного выстрела из «пистоля Дантеса» Силкин потребовал от него выкуп в десять тысяч долларов. Но у него и *деревянных-то* не было, потому что тогда во всю шло строительство дома. Он решительно отказал. «Ну, смотри, сгноим тебя», — пообещал тот.

На Базлыкова по наводке Силкина завели уголовное дело. Молодой откормленный следователь по фамилии Нечкин из кожи

лез вон, чтобы упрятать Антиквара в зону. Всё перевернули с ног на голову: мол, незаконное хранение оружия, попытка ограбления. Будто бы он, Базлыков, угрожая пистолетом, требовал от уважаемого Семёна Ивановича Силкина десять тысяч *баксов*, пытался стрелять в него, но ловкий Семён Иванович сумел перехватить руку рецидивиста-грабителя, натасканного на убийствах в Афганистане, и направить выстрел в потолок.

«Афганскому монстру» продажный следователь шил минимум восемь лет, а удачливый предприниматель Семён Иванович Силкин ходил в героях и всем клятвенно обещал этого «сра.... офицеришку», этого «штыря вонючего», этого «пупыря в погончиках» упрятать за колючку, где его братва сначала опустит, а уж потом вертухаи сгноят.

Так бы и было, мрачно изливал душу Базлыков. Лицо его буквально за какие-то минуты осунулось и посерело, глаза ввалились и из тёмных впадин сверкали сухой яростью. От унижительных воспоминаний у него сводило скулы, и многие фразы он не мог договаривать до конца.

Особенно подлым и гадким в беспределе подонистого наговора было то, что сыто-надменный гражданин следователь лихо превратил двух силкинских охранников в свидетелей, и дело, таким образом, получилось безукоризненно состряпанным. Но ведь существовал и третий свидетель, то есть я, — н е ж е л а т е л ь н ы й. Силкин лично пригрозил Базлыкову, что, если этот «гов..... интилихентишка» объявится, то его непременно пришьют. Тяжко вздохнув, он произнёс:

— Не поверите, но три года, пока тянулась стройка, вы меня спасали. — И, помолчав, добавил: — Тем, что оставались инкогнито. А я, в общем-то, оберегал вас.

III

От Надежды Дмитриевны Ловчевой я знал о посмертном ограблении матери Силкина, и потому чувствовал, что Базлыков не договаривает нечто важное.

— И всё-таки, Николай Рустемович, с чего это вдруг Силкин заломил такую бешенную сумму? — спросил я. — Почему он предъявил вам такие невыполнимые требования?

Базлыков сумеречно молчал. Ему, по-видимому, не хотелось раскрываться до конца: ведь и пистолет, и икона, и всё прочее украденное по праву наследства принадлежало Силкину. Потому-то он и *наезжал* на Антиквара наотмашь, желая прямо-таки затоптать ненавистного «штыря».

Я продолжил свои расспросы; ведь и передо мной Базлыков был грешен, даря, в общем-то, краденную икону. Хорошо, что всё чудесным образом разрешилось, но всё-таки...

— Ладно, поведаю, как на духу, — устало вздохнул Базлыков. — Надо наконец-то и самому облегчить душу. Ох, если бы вы знали, как невыносимо в себе такое таскать! Уж лучше кандалы пудовые, чем подобные тайны... Вам это знакомо?

— Конечно, знакомо. Как всем, *посетившим сей грешный мир*. Но, прошу вас, начните с точной даты. Мне это очень важно.

— Пожалуйста... — и запнулся, но быстро справился с собой, раз уж решил поведать правду. — В общем, в конце апреля, как спало половодье... А половодье, знаете ли, в тот год было небывалое...

— Как же, помню! *Разливы рек, подобные морям...*

— Да, зима тогда стояла на редкость снежная. И я помню, как вы, заглянув ко мне, ошарашили красивой фразой: *снега нынче, будто свежей сметаной помазаны*. — Он вымученно улыбнулся. — В общем, всё произошло спустя три месяца после того злополучного января... А я уже уверовал: мол, пронесло... Ан нет! Короче говоря, поймали двоюродного брата Силкина, некоего Норкина, который и грабанул его мать. Тот долго где-то скрывался, но перед маем явился за схороненными ценностями: серебряным столовым прибором, чем-то ещё... Кстати, серебряную ложку он мне показывал... Да, так... Они, знаете, принадлежали бабке Силкина, жене Хромого доктора. Слышали о нём? Ну, хорошо... До сих пор живёт легенда: от всех болезней излечивал... Но я тогда предпочёл, сами понимаете, пистолет...

Базлыков вновь сумеречно замолк. Видно было, что он мучительно раскаивается, корит себя за то, что поддался преступному соблазну. Но он не оправдывался: мол, бесы попутали... Нет, он винил во всём себя.

— Поверьте, если бы я знал, что этот Норкин закоренелый рецидив... — глухо, обрывая слова и фразы, продолжал он. — ...

а то ведь клялся, что единственный племяш... у недавно умершей одинокой учительницы... хоть кого спроси! — Он опять сбился, но тут же спохватился, принялся самого себя опровергать: — Да уж чего там! Видел по роже — ворюга! Но, понимаете, подлая мыслишка закралась: если не я, то другой... ну, заезжий купец... В общем, запутался... То были самые чёрные дни в моей жизни... похуже тех, когда выгнали из армии.

Из его сбивчивого, нервного рассказа выяснилось, что выкуп Семён Иванович Силкин требовал совсем не за «пистоль Дантеса» (между прочим, возвращённую ему стодолларовую купюру он презрительно изорвал в кусочки и, похехикавая, сдул их с ладони в лицо Базлыкову), и, тем более, не за икону, которая тогда его никак не волновала, а за то, что в его власти было или простить поверженного «штыря», или засудить как «торговца краденым». Памятливый Норкин вполне доходчиво описал «заезжего купца», который для Силкина мгновенно превратился в конкретную личность, то есть в Базлыкова. Это означало, что Николаю Рустемовичу придётся стать свидетелем, а, может быть, и обвиняемым по делу о краже и убийстве. Да, да, убийстве...

Вот ведь как раскручивались события! Норкин, поимев приличную сумму, буквально на следующий день после похорон, рванул из Гольцов в Ерахтур к своему *другану* по кличке Мазан, с которым дважды отсиживал за *колючкой*. Несбытые ценности до лучших времён он упрятал в железную бочку, которую зарыл в своём сарае: умно прятал — под поленницей!

С Мазаном в Ерахтуре они, конечно, запьянствовали, и допились чуть ли не до белой горячки. И тут Женьке Норкину почудилось, что ветхий Мазан (кстати, после последней отсидки тот завязал с уголовщиной и уже пару лет пас частное коровье стадо), так вот, Норкину почудилось, что старик по неизбывной привычке его обокрал: неведомо куда подевались притаённые деньги — для дальнейшего бегства под Новомосковск; и мешок с шубой — в подарок Люське Даркиной, когда-то бывшей ему женой. Люська родила тогда дочь, которая, судя по всему, уже взрослая. Впрочем, у Люськи таких «мужей», как он, было с дюжину. И от четверых из них подрастали дети. Примет ли она его, Женька Норкин не знал и тащил ей подарок, да и карман у него не был пуст. По пьяному беспамяту Норкину мерещилось, что Мазан

его деньги и мешок с шубой *утырил*, а это означало, что Люська может его не принять, а тогда куда ему деваться?

Старик злобно отбрёхивался и матерно стыдил *подлюгу* за фраерское подозрение в столь постыдном для бывшего «вора в законе» поступке. Женька же Норкин — всё ещё «Женька» в пятьдесят-то пять лет! — впал в истерику и, находясь в иступлении, потеряв контроль над собой, прикончил ветхого *другана*: он по-цыгански всадил ему в мягкую ложбинку под шейей, бритвенно отточенный кухонный нож — по рукоять...

Наутро, опомнившись и слегка протрезвев, принялся натягивать сапоги, чтобы *драть* из Ерахтура, а в портянке — притаённые им же самим деньги. Непроглядную пьяную заволочь вместе с его блатной дурью, как ветром сдуло, и он припамятовал, что мешок с шубой хранится под лежанкой — сам же туда сунул. Зря, значит, *пришил* Мазана... Но не повiniлся, наоборот, принялся оправдывать себя: мол, если не он, то тот бы ночью — топором или удавкой. Мол, по вечному закону зоны: *сегодня ты, а я завтра*.

В общем, ни виниться, ни *слюнявиться* Женька Норкин не стал, а побыстрее отволол хладный труп Мазана — прямо-таки по-детски лёгкий — в дровяной сарай и прикопал в углу, опять же схоронил надёжно — под поленицей...

IV

На автозаправку, дымно грохоча, закатил грязный, ободраный «маз», обслуживающий близлежащую приокскую каменоломню. Скучный, полусонный водила, ещё не похмелившийся, первым делом спросил Базлыкова, мол, не держит ли тот самого-на или водочки с пивом? Умолял: «Браток, помоги моему горю!» Получив разочаровывающий ответ, не заправляясь, быстро укатил на железнодорожную станцию, где наверняка его *пьяному горю* помогут...

Из дальнейшего рассказа Базлыкова выяснилось, что за промелькнувшие три с половиной года дамоклов меч надо мной висел дважды. По второму кругу, когда неутомимый Семён Иванович возжелал определиться в аристократы и ему позарез потребовалась материна икона с «княжеской надписью». Опять

вспыла лавка древностей и сам Базлыков, а взбешённый Силкин заподозрил, что икону приобрёл именно я. И опять Базлыкова допрашивали с пристрастием, тем более, для погашения старого кредита, он взял новый, краткосрочный, но всё в том же ордыбьевском «Стройкредите», но не успел вернуть вовремя. Силкин запугивал его жуткими пытками: грозил отрезать уши, нос и губы, отрубить руки и ноги; мол, так поступали в революцию с офицерём в Крыму. А то и утопить живьём в Оке с камнем на шее, как топили на Балтике. Но лучше, пугал раздосадованный до бешенства Семён Иванович, бросить, изуродованного, на свалку, чтобы свора бродячих псов сожрала заживо.

В общем, три дня продержали бедолагу в тёмном подвале, но майор не дрогнул и ни слова не вымолвил обо мне. Твердил, что купил икону неведомый ему старик, по внешности — священник.

Ох, как гневился, как изощрялся в ругательствах всеильный господин Силкин, возжелавший приобщиться к князьям Голицыным. Слава Богу, именно в эти дни и успокоился: кто-то из его пройдошистых корешей в Санкт-Петербурге, похоже, двоюродный братец Вовка Наумов, отыскал подпольную группу архивариусов, которые за приличное вознаграждение (в долларах, конечно) произвели его в графы Чесенковы-Силкины. Они составили ему «геральдику» и «древо жизни», идущее, кстати, как и у самих Голицыных, из великокняжеского литовского рода Гедиминовичей... Под это дело, подкреплённое вполне доказуемой, хотя и фальшивой, справкой о том, что новоявленный граф Чесенков-Силкин является законным наследником голицынского приокского имения, ловкий и удачливый Семён Иванович добился аренды ста гектаров земли вокруг Гольцов сроком на 49 лет — «для организации охотничьего хозяйства». Понятно, основная цель была другой — утвердить в Гольцах штаб-квартиру нового многопрофильного концерна «ОРД», во главе которого стоял Ордыбьев.

— Вот такие дела, — заключил Базлыков. — Поезжайте, взгляните, какой они там возвели замок. За крепостными стенами — пушкой не прошибёшь! Между прочим, теперь у Силкина другая кликуха: Графин! Так зовут его ордыбьевские пресвитерианцы, то есть охранники.

— Почему? — удивился я.

— Ну как же! Новоиспечённый граф ежедневно меньше графина не принимает. А они, пресвитерианцы, — повторил он понравившееся ему слово, — все без исключения мусульмане — ни капли в рот! Как и сам Ордыбьев. Вот и возникла презрительная кликуха: мол, *завы Сэмэн тапэр Граф`ын!*

— Значит, и Пупырь, и графин? То есть: *Граф`ын!*

Мы посмеялись.

— Да, так... А, вообще-то, сделавшись фальшивым сиятельством, — продолжал Базлыков, и такая тоскливая наволочь затянула его остановившийся взгляд, — Силкин сильно переменялся. Это уже не разухабистый деляга, а возомнивший, чёрт знает что, мафиози. Дела все забросил и только изображает из себя вельможу. Э-эхма, как меняют людей дармовые миллионы.

— Но вы-то, Николай Рустемович, — выпытывал я, — как вы-то оказались с ними? Неужели не удалось выпутаться из всех грязных историй?

— Как видите, — с горечью вздохнул он, показывая на свою чёрную униформу. — Пока я остаюсь в полной от них зависимости, хотя кредит и выплатил. Важно, что моё судебное дело приостановлено. Как говорится, и на том спасибо.

— Разве дело не прекращено? Ведь это — сплошной бред!

— Нет, не прекращено. Прекратят лишь по сроку давности. По прошествии не менее чем пяти лет. А пока я, — хотите верьте, хотите нет, — их подневольный раб.

— Но ведь это какое-то безумие! — неверяще воскликнул я.

— Ах, не хотелось бы об этом говорить, но такова действительность. Я только вам могу об этом поведать, потому что всё это и вас касается. Потому что доверяю вам. Даже жене стараюсь не говорить, — Он тяжело, вымученно застонал. — С ней совсем плохо. Особенно, когда узнала, что я служу у Силкина. Я ей внушаю: мол, у Ордыбьева. А она своё: ты не смеешь служить у этого мерзавца! Господи, как она его ненавидит. Мне кажется, она умом сдвинулась. Ничего не могу понять, ничего...

Сухие глаза его заблестели влагой, и слёзы скатились по щекам. Базлыков плакал, и не стеснялся этого.

— Господи, — повторял он, — моя восторженная, романтическая жёнушка... если бы вы знали, что с ней сейчас творится! Я очень боюсь, знаете... боюсь, что она руки на себя наложит.

Он плакал по-мужски скупно. Пожалуй, скупно по-военному, как офицер, повидавший войну, смерти, трусость, предательство... Горе его было неподдельным, затрагивающим все человеческие сущности — честь, достоинство, любовь. Но и остановил он себя, прервал свои слёзы, как будто приказал: сразу и резко. Стеснительно повинулся:

— Простите мою слабость. Простите, ради Бога.

Мы помолчали. Наконец он вымолвил:

— Пришлось упасть в ноги Ордыбьеву. В фигуральном, конечно, смысле. Дорого, ох, как дорого всё это стоит!.. — Продолжал жёстко, подавлено: — А знаете, почему Ордыбьев ко мне снизошёл? Не потому, что не сомневается в моей порядочности. А совсем по иной причине. Тут вдруг отыскался неведомый мне родственник и надоумил... Я ведь наполовину татарин, по отцу. Правда, никогда об этом не думал, да и по паспорту — русский. Я и слов татарских не знаю. А теперь это оказалось важным.

— Что — «важным»?

— Быть наполовину татариним.

— Для кого — «важным»?

— Для того же Ордыбьева.

— Это вас и спасло?

— Пожалуй, только это. Хотя точно не знаю. Нет, не знаю.

Он опять тяжело вздохнул, беспокойно выглянул в окошко. Тревожно заметил:

— Вам лучше уехать. Скоро появятся шиномонтажники, а нам вместе не следует светиться. До лучших времён. Прощайте!

— Спасибо, Николай Рустемович, что оберегали меня, — поблагодарил я.

— Ах, о чём вы? Это — мой долг. Я же не сволочь, не подонок, не Семён Силкин, — устало произнёс он. — Знаете, чем он сейчас занят? Только одним: шьёт графский гардероб. Отыскал старика-портного, и тот по старинным выкройкам, доставшимся от деда, а, может быть, от прадеда кроит ему всякие фраки, смокинги, охотничьи костюмы и, чёрт знает, что ещё. Если вы

всё же загляните в Новые Гольцы и повстречаете его там, то непременно удивитесь.

— Бред какой-то, — вымолвил я.

— Да, с ума посходили... от бешенных-то миллионов, — устало вздохнул он и вновь беспокойно выглянул в окошко. — Вам всё-таки лучше уехать, и давайте никак не показывать, что мы знаем друг друга. Вы даже не представляете, на что эти люди способны.

Глава седьмая

ПАЛОМНИЧЕСТВО В СТАРУЮ РЯЗАНЬ

I

Моё паломничество в Старую Рязань — в далёкое, трагическое прошлое — после непредвиденной встречи с майором Базлыкковым оказалось надломленным, просто ничемным. Трагедия существовала вокруг, в сегодняшней России, и осмысливать следовало бы её; разбираться в том, отчего нынешние поколения так фаталистически покорны преступному беззаконию, пустившему метастазы повсюду.

Однако по привычке я упрямо выполнял составленную самим же собой программу, хотя у меня ничего не получалось, особенно в преодолении б а р ь е р а в р е м е н и. Ведь чтобы ощутить далёких предков, хоть чуть-чуть воплотиться, скажем, в княжеского дружинника в попытке передать отчаяние и тревогу того лютого декабря 6745 года*, надо было заглянуть в глубину веков, на упомянутые 760 лет. Да, для того, чтобы почувствовать далёкое прошлое, необходимо такое сгущение душевных сил, такое, ничем необоримое, желание — прорваться, проникнуть; и такой зажигательный восторг, которые и века сдвигают. Я же пребывал в расслабленной задумчивости.

* 1237-го года от Рождества Христова. В Древней Руси летоисчисление велось с Сотворения мира. — авт.

Механически исходил княжеское плато Старой Рязани; полюбовался, как заведено, неоглядными далями; смиренно постоял на земляном валу, представив без воодушевления сравнительно небольшие дружины великого князя рязанского Юрия Ингваревича, братьев его Давыда Ингваревича Муромского и Глеба Ингваревича Коломенского, местных князей, бояр, воевод, самих дружинников, удалцов и резвицов, в общем, всё рязанское воинское узорочье, которое храбро, в едином порыве отправилось на р а т ь в степные пределы княжества, в верховья реки Воронеж, где несчётными шатрищами располагались орды Батые. Храбрецы, по словам летописца, геройски промчались сквозь тьму становищ, выискивая золотую ханскую юрту, рубя мечами нечестивых, коля копьями, пока и сами все не полегли.

А ведь они знали о том, что восемь лет кочевали в поволжских степях орды Батые, внука Чингисхана, готовясь к завоеванию Великой реки — от жаркого устья до холодных, сумеречных истоков. Купеческая Булгария не пугала честолюбивого хана, а вот воинственная Русь страшила. Тысячи лазутчиков рассылал он на юг и на запад, но, прежде всего, на северо-восток, желая знать о Руси всё: её города и веси, дороги и гати, характер и веру, настроения, заботы, межкняжеское нелюбие, чтобы неостановимым ударом повергнуть в прах могучую, но беспечную державу.

Наконец на девятый год Батый решился и двинул свои нечитанные, неприхотливые орды на Русь — по морозному декабрю, когда реки скованы льдом. А ведь ледяные русла — самые надёжные, самые разветвлённые и самые безошибочные дороги к городам и сёлам сквозь лесные чащобы. Завоевать он решил прежде всего главную — Северо-Восточную, или Белую Русь — в безостановочном, беспощадном натиске. И первой увидеть у своих ног сказочную, поднебесную Рязань, о золотокупольных, белокаменных красотах которой все лазутчики повествовали с прищипыванием языком, в умильном восхищении и с жадным, нетерпеливым вождением.

Самопожертвенность рязанских князей и дружинников, пожалуй, нам не понять, если не ведать, что русичи той эпохи, ещё с битвы на Калке, убеждённо верили, будто наступают последние времена, *конец света*, будто появились агаряне, сыны преисподней, чтобы погубить жизнь человеческую во всей Вселенной. Т

а р т а р ы — так называли в Европе батыевы орды (tartaros — по-гречески преисподняя) — после геройской гибели войска Юрия Ингваревича тут же объявились под сказочной Рязанью, и ещё пять дней и ночей малые её защитники мужественно сдерживали неистовый натиск алчущих *агарян*...

Потом, в запылавшем городе, случились для Руси жуть и позор: принародно на церковных каменных плитах терзали юных монахинь, непорочных дев, добродетельных жён — гогочущей очередью... Чтобы осквернить само целомудрие, ужаснуть беспощадностью: когда очередь кончалась, то последний в показательной свирепости обезглавливал жертву ударом кривой сабли...

А в алтарях распинали священников, дьяков, седовласых монахов, вонзая в них дамасские кинжалы... Чтобы таким изощрённым святотатством доказать неприятие Иисуса Христа...

Повсюду в огненной Рязани дымились ручьями на лютom морозе горячая кровь, и никто, абсолютно никто не спасся — ни малый, ни старый; ни женщина, ни мужчина.

Когда вернулся в м ё р т в у ю Рязань младший князь Ингварь Ингваревич, последний суверен Земли вятичей, оказавшийся во время батыева погрома в Чернигове у брата своего двоюродного Михаила Всеволодовича и там узнавший о неправимой беде, то очам его предстала снежная пустыня с уродливо окоченевшими трупами, часто обезглавленными, вмерзшими в чёрно-алый лёд...

Именно с осквернённой, растерзанной Рязани в русском языке появились проклятые мерзости, те м а т е р н ы е ругательства, от которых мы до сих пор не избавимся, — про твою..... мать! Ничего подобного не существует в других европейских языках, особенно — в терзании святого образа Девы и Матери.

... А батыевы орды уже пожгли, осквернили Коломну; превратили в пепел Москву; приближались, *алчно облизываясь, аки волки*, по словам летописца, к великокняжескому граду с Золотыми воротами, к стольному Владимиру... И первым делом, наводя на горожан ужас, закидали их из китайских метательных орудий отрубленными головами русичей... Однако неустрашимые владимирцы, как и рязанцы, предпочли погибнуть, но не сдаться, не подчиниться звероподобному врагу.

II

Что мы хотим понять, возвращаясь к батыеву нашествию? — думалось мне. Что ищем похожего в тех жутких годах? Неужели воспринимаем современный Запад «коллективным Батыем»? Жаждающим расправиться с Россией, разделаться с нею, разделив на крошечные уделы, чтобы исчезли, как при Золотой Орде, сами понятия — Русь, русские?..

Вспоминались простые и вечные слова из Екклесиаста:

«Что было, то будет; и что делалось, то и будет делаться, и ничего нового под солнцем».

Как не задуматься? Как не сравнить?..

Что было...

Действительно, что было тогда, 760 лет назад? Прежде всего — тьма войска под непререкаемым началом; и неслыханная жестокость. **Ж е с т о к о с т ь** — главный завет Чингисхана своим потомкам чингисидам. На жестокости строилась система террора, покорённые народы должны были ежедневно и ежечасно испытывать животный страх — перед любым монголом! — должны были вечно пребывать в подавленном состоянии духа, желая лишь одного — **в ы ж и т ь!** Гордость человеческая вычеркивалась, как и понятия чести, совести, достоинства, а поощрялись — и более всего ценились! — донос и предательство.

В общем, всё следует определить как государственное рабство, где человек — ничто, вернее — двуногая тварь!

Подобная печальная картина наблюдалась не только на Руси. Раньше убийственные опустошения случились в Китае, в странах «от Аральского моря до Инда», покоренных самим Чингисханом.

И всюду — **с м е р т ь** и **у ж а с**. В Китае погибло более, чем 90 цветущих городов, на Руси 49 из 74-х, и первой испила смертную чашу поднебесная Рязань. Между прочим, население Руси, перед нашествием Батыя равное 12 миллионам человек, восстановилось лишь три века спустя, к концу XVI-го...

Но потери количественные не сравнимы с потерями качественными, которые определяют характер народа, духовное само-

стоянье. Два с половиной века татаро-монголы сживали со света русичей. Русь не жила, а выживала. Она даже имя собственное потеряла, превратившись в Московский улус Золотой Орды.

Могла ли Русь выстоять перед напором с Востока, перед батыевыми ордами, которые, кстати, завоевывали не отдельные страны, а всю Вселенную? Я искал ответы у многих историков и мыслителей, и не только отечественных, и, конечно, не только у современных: нет, не могла...

У большинства историков основополагающий довод таков: мол, Русь была раздробленной, запуталась в междоусобицах... Меня такой вывод не устраивает. По-моему, если бы объединились все княжеские дружины, если бы сумели собрать многотысячные рати и всё-таки удалось бы одолеть четырнадцать батыевых орд, то непременно из глубин Азии явились бы новые орды *агарян* и завершили бы своё поганое дело. Потому что была не понятая до сих пор, хотя, может быть, кем-то и понятая, но мне неизвестная, *предопределённость* в событиях того времени...

III

Как известно, в истории не существует сослагательного наклонения, и светлая, юная Русь, которая впоследствии именовалась *С в я т о й Р у с ь ю*, с её удельной «княжеской демократией», с её говорливыми вече почти в каждом городе, с зависимостью любого князя от дружины и веча, с весёлой суетой в делах и торговле, с непрощаемыми обидами и молодецким тщеславием, с шаткостью клятв и неустойчивостью натуры при отсутствии великих помыслов и целей, более того, при измельчании княжеского рода, уже никак не сравнимого в личностях ни с великим воином Святославом Игоревичем, ни с сыном его — неистовым честолюбцем, однако пронизательным правителем Владимиром Крестителем, ни с Ярославом Мудрым, ни с мужественным, многоталанным Владимиром Мономахом, и даже с неутомимым строителем Северо-Восточной Руси Юрием Долгоруким, — да, никак не сравнимы с ними те, кто встретил батыевых исчадий ада; так вот, гибель Руси и спустя семь с половиной веков представляется неминуемой не по причине слабости духа русичей, а в силу всеохватности Зла. Может быть, не крушение

Атлантиды, а исчезновение Древней Руси по сути своей есть величайшая утрата для всего человечества!

Ах, как жаль, что всё именно так случилось! Как жаль, что *былинные, богатырские, сказочные* времена так никогда больше и не вернулись... Древняя, героическая Русь погибла; ушла навсегда в небеса...

К единению и самодержавию, к новому величию славянской Державы, которое, как мне мнится, столь же катастрофически завершается на наших глазах, мы пришли через невыносимые унижения и невозполнимые потери, и наше государственное «воскресение из мертвых» оказалось настолько затяжным, что мы превратились в совершенно других русичей. При деспотичном самодержавии с привитой азиатской покорностью потускнели те светлые качества в национальном характере Древней Руси, как честь и достоинство, правда и справедливость, милосердие и покаяние; и то чистое, искреннее, незамутненное Православие — святая вера во Христа!

Вместо же них, или в дополнение к ним, у многих русичей появилась рабская угодливость, двуличность, тревожный испуг, также другие пороки, свойственные Азии, по крайней мере, не возбраняемые там — ложь во спасение и удачливая вороватость; а кроме того, упомянутые донос и предательство. И всё это ради того, чтобы добиваться желаемых целей любыми средствами.

Наверное, думалось мне, следует нам понимать и со всей ясностью видеть, в чём были и есть наши слабости, но, прежде всего, — в чём всё-таки наша сила и наше спасение. Особенно ныне, когда вновь идут упорные поиски русской национальной идеи во имя возрождения Державы. По-моему, русская идея очень проста: нужно осознать и доказать себя русскими!

IV

Очерк с лёгкостью складывался, и это меня радовало. Оставалось изложить его на бумаге, раза два поправить, выглаживая стиль, и отправить неугомонному поэту, главному редактору ежемесячника «Звонница» Вячеславу Фомичу Счастликову.

Я думал о нём с улыбкой, восхищаясь его восторженностью, но прежде всего той безрассудной храбростью, с какой он

бросался в неведомое ему дело. А дело-то воистину нешуточное, да и, ох, какое громоздкое — распахнуть перед соотечественниками все одиннадцать веков российской государственности.

Сам он, чтобы как-то соблюсти баланс между очень и очень непростым, порой мистическим тысячелетием и одним лишь двадцатым веком, правда, веком нескончаемых революций и войн в России, придавленного, к тому же, пятый интернационального большевизма и наковальной пролетарской диктатуры, — так вот, сам Вячеслав Счастливов занялся расшифровкой исключительно сложного, ещё никем объективно, глубинно не осмысленного, не осознанного, не оценённого двадцатого столетия, причём в его переломной для страны революционной фазе во время Первой мировой, а затем Гражданской войн. Эпоха, конечно, едва подъёмная, но ведь неугомонный поэт Счастливов не знает преград «*ни на море, ни на суше...*», а тем более в невесомой пыли истории.

Я разговаривал с ним мысленно, или, как теперь выражаются, в виртуальной реальности. Да, да, мы говорили, спорили, не соглашались, и всё вроде бы зримо, вживе... Впрочем, ведь каждый хорошо знает, какие страсти вспыхивают в нашем притаённом сознании, какие картины рисует наше воображение, какие сцены разыгрываются на подмостках нашего внутреннего театра; и, более того, какая порой бушует ненависть, но и какая безумная возникает любовь...

Да, так, видно, устроен наш внутренний мир, который оживает, когда мы одиноки или предоставлены самим себе, а такими бываем достаточно часто, и, я убеждён, большую часть жизни!

А обсуждали мы со Счастливовым... да, да, **в и р т у - а л ь н о!** — деяния первого рязанского коммунара Семёна Силкина, деда нынешнего Семёна Ивановича. Вячеславу удалось проникнуть в губернский архив ВЧК-ОГПУ, чтобы попытаться разгадать мученическую гибель знаменитого коммунара осенью 1919 года...

Наивный и оптимистичный Слава Счастливов надеялся открыть идейного борца за счастье народное, видел в нём нечто среднее между гуляй-польским батькой Махно и грозным матросом Железняком, но, нет, не обнаружил *пламенного революционера*

и понял, почему председателя гольцовской коммуны «Красные зори» никогда, ни в какие периоды Советской власти не возвеличивали, не возносили, как знамя. Не потому, что был он посланцем Григория Зиновьева и служкой некоего Швидкина, всевластного губернского комиссара, расстрелянного по делу троцкистско-зиновьевского блока, — конечно, это многое объясняло, но не всё. Просто сам по себе Семён Силкин предстал личностью очень даже не привлекательной.

Однако, как честный литератор, Вячеслав Счастливов всё же сделал набросок «Первого коммунара». Меня, конечно, заставил очерк прочесть и настойчиво вопрошал, следует ли публиковать? Он опасался негативной, а, следовательно, и мстительной реакции нынешнего Семёна Ивановича Силкина, о котором был наслышан чуть ли не как о главном мафиози в Городце Мещерском. Я предложил Счастливову компромиссный вариант: не спешить с публикацией, по крайней мере, в «Звоннице», ну, а если уж невтерпёж, то лучше, а главное, безопаснее, напечатать очерк в каком-нибудь из центральных изданий, причём под псевдонимом, чтобы доморощенный *брут* не сподвигнулся на *вендетту*.

Так незаметно, само собой мысли переключились на здравствующего Семёна Силкина, тем более как раз в тот момент я подъезжал к повороту на Гольцы. Кстати, в какую-то из встреч я поведал Счастливову о своём случайном знакомстве с этим господином, правда, опустив историю с иконой, и сделал это сознательно. Честно признаюсь, не люблю касаться вопросов веры, точнее, своего личного отношения к религии, к духовенству. Как не допускаем мы никого в тайники души, так и в этой высшей сущности бытия, по моему убеждению, ни в коем случае не следует выставляться на сиюминутные потребности. А кроме того, исповедальные откровения достойны лишь тех, кому доверяешь и кто умеет молчать. Меж тем литературные коллеги, особенно поэты, люди неуравновешенные, исключительно болтливые, в мгновения ока способные забыть только что принесённые клятвы и приписать такое, что потом хоть стой, хоть падай, хоть со стыда помирай. Ко всему прочему, несмотря на горделивые декларации о том, что они-то и есть истинно верующие: мол, причащаются, постятся и тому подобное, — *бесы* всё равно совращают их чуть

ли не каждодневно, а потому им постоянно приходится с ними бороться: каяться, отмаливать грехи, даже накладывать на себя епитимию, то есть церковную кару. Но я в их б е с о в не верю. Прежде всего потому, что — ох, как удобно! — каждодневно оправдываться тем, что «бес попутал», — ох, как легко — не чувствовать за собой никакого греха, никакой вины...

Вообще-то, замечу, сочинительство, как и искусство в целом, — дело не христианское, а больше языческое, к тому же, тщеславное — в намерениях и общественном присутствии, а в поведении — исключительно шаткое. Вот потому-то духовные свои прозрения, а, тем более, переживания, лучше хранить в тайниках собственной души, твёрдо веруя, что Господу всё ведомо, а приоткрываться следует лишь лицу духовному, на сие Господом уполномоченному...

Это, промелькнувшее в голове откровение лишь утвердило меня в решении обязательно завернуть в Гольцы, всё увидеть, о чём поведал мне Базлыков, а если судьбе угодно столкнуть меня вновь с Силкиным или Ордыбьевым, то пугаться нечего. Даже занятно наконец-то с ними объясниться!

Глава восьмая

УТИНАЯ ОХОТА

I

Подъездная аллея в бывшее голицынское имение со стороны Рязани, обсаженная ещё когда-то в начале девятнадцатого века Джоном Возгрином сибирскими лиственницами, а на поворотах — дубами, как символами-стражами России, пребывала в нынешнюю эпоху развала и запустения, с треснувшим асфальтом, с огромными вымоинами и длинными объездами по полевой стерне. За третьим поворотом километрах в двух от Рязанско-Муромского тракта полузасохшую величественную аллею перегораживал бело-зелёный шлагбаум с чёрным кругом, по которо-

му серебром начертали «Охотничье хозяйство», а внутри ярким суриком предупреждение: «Въезд строго воспрещён».

За шлагбаумом начиналась безукоризненно выглаженная чёрная лента шоссе и опять полевой объезд, несмотря на преграду и запрет. Вообще-то, в России подобное никого не останавливает и не пугает. Понятие воли, как необузданной свободы, гнездится в душе каждого русского, возраставшего на немеряной вольнице земной тверди. Поэтому никакого значения строгому предписанию и я не предал.

Кстати, ничего похожего не встретишь в другой, не российской, части Европы, где всё регламентировано, а запреты святы. Что ж, в Западной Европе страны-государства с нами не сравнимые, — и там каждый километр освоен и изучен. А у нас, на той же Русской равнине ощущение такое, что соотчичи лишь только начинают жить, облагораживая неоглядные дали, — и работы у них непочатый край, не на одно поколение!

В общем, я продолжал свой путь в Гольцы, однако росло беспокойство: а вдруг нападут? Вдруг скрутят, бросят в подвал, как того же Базлыкова? Владение-то *крутых*! Беспределом жестоких расправ теперь никого не удивишь... Вспыхивало, понятно, возмущение: «Эко придумали — охотхозяйство! Поместье себе присвоили!».

Возмущение затмевало тревогу, хотя я уже не сомневался, что впереди маячит встреча с вооружёнными охранниками. Правда, тешил себя тем, что у меня есть алиби: мол, навещаю учительницу Надежду Дмитриевну, хотя данный аргумент мог никак не подействовать. Честно говоря, мне не хотелось нарываться на расправу упоённых безнаказанностью держиморд. Поэтому я затормозил машину у тропинки, ведущей к порядью краснокирпичных домов земской постройки, в одном из которых прожила всю свою жизнь моя знакомая учительница. Но, выйдя из машины, я ошарашено замер, забыв о Надежде Дмитриевне и обо всём прочем. Сбоку, за поворотом красовался, будто возникший чудодейственно из сказки, белокаменный замок.

Вместо краснокирпичной крепостной стены с огромными проломами, наполовину сниженной по той простой причине, что в советские времена кирпичи растаскивали на печки и иные строительные нужды, неприступно утвердилась более высокая и

более мощная белокаменная ограда, покрытая по верхнему скату медными гофрированными пластинами, с островерхими башенками на углах, тоже в медном покрытии и с позолоченными петушками-флюгерами. Исчез бурелом, а появился глубокий ров, правда, пока не заполненный водой, но всё равно препятствие представлялось едва преодолимым. Из-за медного уреза больше не выглядывали пышные кроны яблонь; там теперь конусно устремились к облакам серебристые ели.

Ну, и сам белокаменный замок... Сооружённый из знаменитого оского известняка, из которого в Древней Руси строили только храмы, он выглядел строгим, умеренно величественным. Да, архитектурно он был как бы прост, и как бы сложен, и как бы в меру затейлив: квадрат основных помещений в три этажа поднимала, делала стройным крутая крыша, и ещё то, что по бокам вонзались в небо круглые башни. Все крыши так же, как и крепостные стены, казались покрытыми огненной медью, — вероятнее всего, «под медь», — и те же навесы над непривычными трёхгранными окнами, выдвинутыми наружу, так называемым эрке-ром. Башни украшали золотые шпили наподобие петропаловской «иглы» в Санкт-Петербурге, а в том, что они позолоченные, в блёском солнечном сиянии, не возникало сомнения.

«Н-да, — сказал я себе и в удивлении, и в недоумении, — прямо-таки чудо отгрохали! Видно, новоявленный граф всю постарался... Напротив жалких домишек своего детства... бревенчатой школы, которую, конечно, скоро снесут... скромного обелиска своего деда, знаменитого коммунара...»

«Н-да, — повторял я, в самом деле потрясённый, продолжая разговор с самим собой, — теперь внук в Гольцах суверен и богач... Теперь, можно сказать, всё в его воле... Вот ведь как меняются векторы бытия, оборачивается судьба...»

Я направился к неприглядным домам столетней давности — очень жалким перед явленным новоделом.

«А ведь когда-то, — думалось мне, — в первую либерально-демократическую эпоху они, красно-кирпичные, в деревянно-соломенной России воспринимались чуть ли не барскими, и проживали там избранные — грамотей-конторщики, агрономы, учителя, доктора, инженеры... Но уходят поколения, умирают с ними эпохи...»

На калитке палисадника у дома Надежды Дмитриевны Ловчевой крепилась, обмотанная проволокой, фанерка со словами, написанными чернильным карандашом: «Дом НЕ продаётся». Отрицание «не» вывели жирно и заглавными буквами, и в этом чувствовались решимость и вызов.

«Что ж, — думалось грустно, — выходит, Надежда Дмитриевна больше здесь не живёт. И жива ли вообще? Может, подалась в Рязань к дочери? — мелькнула догадка. — Куда же ей теперь?.. Ну, а мне самому? Не напрашиваться же в гости к графу Чесенкову-Силкину? Или к тому же Ордыбьеву?..»

Однако уезжать из Гольцов мне не хотелось. Я всё же должен был разобраться в том, что здесь произошло. Ведь налицо необратимые перемены: жизнь п о т е к л а новым руслом, как река, как та же своенравная Ока, — «... и вернуть её к прежнему уже никак невозможно! Если даже кто-то преуспеет в гордыне и упорстве, всё равно живую стихию не переупрямишь... Значит, сроки настали?!»

И думалось дальше:

«...а раз так, то отчего мне бояться Силкина? Отчего?! Что, собственно, мы не поделили? Семейную икону? Но и это уже решено, и не нами, а высшим судьей...»

Перед моим внутренним взором возник иконописный лик Христа в тёмном окладе, и вдруг Он по-живому глянул на меня с тихой улыбкой, и я на левом плече г о р я ч о ощутил благословляющее прикосновение. Я воспрял; исчезла осторожность, не то что страх. Я готов был на отчаянные поступки.

«...Ну и пусть, что когда-то оказался нежелательным свидетелем! На данный момент забудем, — возбуждённо решал я. — Вот ведь что имеем: пройдошистый Силкин всего добился — и в графы пролез, и ненавистного майора Базлыкова определил в свои крепостные... В наше-то время люди попадают в рабство! Но чему удивляться? Теперь повсюду открыто — на трибунах, по телевидению — провозглашают: *эта страна* прежде всего развалилась на *элиту и шпл, который всё схавает!* А презренный *шпл*, в переводе с английского, — н а р о д, — *навоз истории*, как часто повторял один из *пламенных революционеров* товарищ Троцкий...»

Чувствовалось, что закипаю. Затвердевала решимость: мол, ни Силкина, ни, тем более Ордыбьева, бывшего партийного босса, я ни в коем случае не должен бояться.

«... а должен их высветить, — настраивал себя. — Написать статью. Пусть всюду их узнают! Попрошусь сейчас в гости и пускай нахвастывают о своих деяниях... Сами себя разоблачают!...»

Во мне закипал былой журналистский азарт, тот напор, перед которым нелегко устоять.

«Главное, — сказал себе ободряюще, — принять решение и, как советовал Наполеон, *ввязаться в бой*. А дальше само собой определится...»

II

Я подъехал к арочным воротам, сбоку которых, как дот, примостилась будка охранников. Из железной двери вывалился косматый детина *кавказской национальности* в неряшливом тёмно-зелёном комбинезоне с серебряной нашивкой «ОРД», с вислой кобурой на широком ремне портупеи. Он тупо, грозно уставился на меня.

— Кто таков?

— Знакомый хозяина, — непринуждённо отвечал я.

— Он тебя звал?

— Звал не звал, а я по делу.

— Тебе кто нужен?

— Как «кто»? Сам граф.

— Граф'ын на охота. Поэхал утка стрэлат.

Охранник подозрительно обошёл машину. Московские номера его смутили.

— Из Москва приэхал?

— Из неё родимой.

— Падажды, — приказал он, направляясь в будку.

Смелости во мне поубавилось. «Не втягиваюсь ли в опасную авантюру? — подумалось беспокойно. — Зачем мне это?..» Однако непреодолимое любопытство охватывало меня, и страх рассеялся. В самом деле, разве случайно я оказался здесь? Теперь уж отступить некуда.

Кавказец вышел с радиотелефоном у уха, сумрачно повторил:

— Кто таков?

Авантюрное настроение увлекло меня за опасную черту.

— Барон Штольц, — выпалил я, деланно улыбнувшись.

Тот повторил, а потом, склонив косматую глыбу головы и вдавливая радиотелефон в волосатое ухо, угрюмо, слушал.

— Граф'ын гаварыт: ты нэмэц? — уточнил он.

— Нет, я русский барон.

Он повторил, и опять непонятливо слушал.

В конце концов отключил телефон и опустил волосатую руку — даже пальцы у него были покрыты смоляной шерстью. «Нда, с такими не шутят», — запоздало сообразил я.

— Паэзжай на рэка. Там тэба встрэтат, — приказал, указывая рукой на луговую дорогу, и осклабился в улыбке, в которой мне почудилось хищное предвкушение, тем более, он по-волчьи поклацал зубами и кончиком мясистого языка облизал верхнюю губу.

III

В приокских лугах таилась пустынная тишина. Я медленно ехал по гладкой, как асфальт, и прямой, как стрела, луговой дороге вдоль Оки между двумя взгорьями — Княжеским и Троицким. Справа тянулась обрывистая гряда, в небесном урезе которой торчали коньки крыш села Гольцы. Слева миновал небольшую старицу, обрамлённую свадебным хороводом берёз в лимонно-золотистых монистах. Впереди, чуть в низине, маячила малахитовая в коричневатых разводах роша.

Пока нигде ничьего присутствия не угадывалось. Меня смущало то, что при съезде с бывшего барского двора, где до сих пор сохранились каменные конюшни и амбары с железными воротами и кованными перекладинами для запоров, а также неказистый двухэтажный дом барской, а затем совхозной конторы, дорожку метил чёрный щит с серебряными письменами, предупреждающий: «Гольцовское охотхозяйство. Без пропуска въезд воспрещён». Выходило, что уже дважды я игнорировал строгие предупреждения, а потому физически ощущалось, что рулю в запад-

ню. Но отступить было поздно, хотя себя малодушно вопрошал: «А не развернуться ли и, не оглядываясь, рвануть обратно — на трассу, да побыстрее в Тульму, в свой бревенчатый скит?..»

За рощей открылась большая старица, настоящее озеро, в ольховом окружении. На дальнем конце величественно возвышался, не менее, чем столетний дуб, ещё не сбросивший свою скрученную, коричневатую листву. Под ним на столбах возвели резной навес, имитирующий черепичную крышу, под которым был вкопан длинный стол с лавками, а по бокам на толстых пеньках лежали устрашающие головы драконов с разверзнутыми пастьями, с острыми, торчащими, как стрелы, языками. Я остановился, заглядевшись, но, нет, не на драконьи пасти, а на многочисленное семейство уток — красавцев-селезней и скромненьких самок. Чем-то озабоченные, они беспокойно побрякивали и торопливо, зыбкими угольниками, резали нефритовую воду, устремляясь к середине старицы. Казалось, что по зеленоватому гляncу плывёт всамделишная эскадра.

И вот в этот миг за ольховым молодняком взревел-зарычал мощный двигатель и оттуда, будто танк, выкатил, набирая скорость, мощный вездеход — «гранд-чероки». В нём, держась за поручни, стояли два обалдую, длинный и квадратный, выряженные в тёмно-зелёные камзолы, точнее, в стёганные татарские архалуки, в чёрных косоворотках, с ружьями за спиной, в бейсболках, на высоком фронте которых серебрились всё те же навязчивые буквы — ОРД. Они едва сдерживали на поводках лающих по-сумасшедшему догов* — двух громадных псов чёрного и тигрово-палевого окраса, похожих на «собаку Баскервиллей». На смерть перепуганные утки, панически крикая, взлетали с нефритовой глади старицы и уносились к Оке, но злобные доги ни разу и морды не повели в их сторону.

«Гранд-чероки» перегородил дорогу у самого бампера моей «четвёрки». Я узнал всех троих: за рулём сидел Силкин, в кузовке с собаками находились охранники, а ныне, выходит, егеря.

* Д о г — ведёт своё происхождение от древнегреческих боевых собак — молосов. Мощные, бесстрашные, уверенные в своей силе собаки; самые крупные из всех существующих. Характер спокойный, уравновешенный, однако к посторонним недоверчивый и даже злобный. — Авт.

«Квадратный» — с кабаньей, безшейной головой — в дикой радости захохотал и, указывая пальцем на меня, вскрикивал: «Родька, гля! Гля! Это же та падла, которого мы рыскали!..» Длинный Родька, чьё бледное, уродливое лицо — с утюжной челюстью, с подлобными впадинами, откуда шныряли жалящие глазки, — изобразило довольную ухмылку, перегнувшись скобой к водителю окну, что-то тихо и убедительно наговорил своему суверену. Силкин багровел, наливался злобой. Слава Богу, я успел закрыть водительское окно, потому что в следующее мгновение одним прыжком «баскервилли» оказались возле него, и я во всех подробностях мог разглядывать их огромные пасти и налитые кровью глаза. Псы безумно лаяли, готовые разорвать меня в клочья, но от невозможности совершить сие действие подвывали пощеньчи и беспомощно царапали длинными когтями стёкла.

От невероятности происходящего я не мог ни возмутиться, ни что-либо предпринять, потому что два ряженных обалдуя, наставили свои двустволки, целясь мне в межглазье. От отчаянья я включил противоугонную систему, тревожное завывание напугало псов, они даже отскочили далеко в сторону, но сам я не двинулся, не наклонял голову, а остолбенело глядел в дула, не веря и не понимая, что всё-таки происходит.

Силкин, приоткрыв дверь и, высунувшись из машины, тоже, как и его обалдуи, наводил на меня дуло... но, нет, не двустволки, а уже известного «пистоля Дантеса». С ужасом я представил: вот-вот раздастся тройной залп — и всё!.. — *несчастный случай*... Хотя и смертельный, но ведь на охоте!.. Мол, чего только не случается там, где стреляют?.. А Базлыкова рядом нет — не спасёт, не заслонит...

Над нами, сделав круг над окской долиной, над омертвелыми лугами, появилось, снижаясь на глянцевую гладь старицы, громко кричающее утиное семейство. Граф Чесенков-Силкин, а за ним и два его холуя выстрелили вверх, и на белый капот моей машины с небес упал, летевший первым красавец-селезень.

Он лежал на боку, размахнув перебитое крыло, конвульсивно подрагивал, приоткрывая чёрную бусинку глаза, в которой отражались смертельная боль и великое недоумение. Из-под него ручейками текла кровь, и на бело-кровавом фоне особенно выделялось великолепие его оперения, будто отлакированное, — ма-

лахитовая головка с солнечным клювом, фиолетовая грудка и опаловое, нежное брюшко; а под крыльями ярко синели «погоны» с обводами; и хвостовой чёрный бархат с сильными белыми перьями, которые предназначены для торможения при посадке.

Было тоскливо-жалко наблюдать его предсмертные конвульсии. Дёрнулись розовые лапки, откинулась головка — и завершилась безгрешная утиная жизнь... А чёрный дог, оборвав лай, схватил мёртвую птицу алчущей, алой пастью и понёсся скачками к столетнему дубу, к едальному месту, а за ним и тигрово-палевый...

IV

Я чувствовал опустошённость, усталость, безразличие; и было совсем небоязно перед этими ряжеными убийцами. Печально думалось о том, что селезень всю свою жизнь неразлучен с уткой; и всегда они вместе — плавают, кормятся, летают, выводят потомство; и всегда он, красавец, впереди, а она, скромненькая, пёстрокоричневая, преданно следует за ним — повсюду! И что же, когда он убит? Верная утка — вдова? Бесконечно одинока?..

«...как мысль в мироздании, — странно заключил я, и упрямо подтвердил: — Да, как одинокая мысль в вечности... Но разве чужая смерть заботит праздного убийцу?..»

Силкин изображал из себя *сиятельство*, я был благодарен Базлыкову за то, что он предупредил меня об этом. Выглядел новоявленный граф довольно нелепо, претенциозно: был экипирован по охотничьей моде английской *викторианской эпохи*, когда жили Конан-Дойль и его литературные герои — Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Видно, черпал он своё щегольство, свою элитность из упрощённых по мысли и по изображению сериалов в вездесущем телящике. Получалось: в нынешнем примитивном, но всамделешнем и пугающем сюжете демонстрировался старинный помещичий быт — полуроссийский, полуанглийский; смесь русского крепостничества со спесивой буржуазностью английских лендлордов. Способность к мимикрии, к той изменчивости в поведении, к той приспособляемости к тому или другому лицу, от которого в недалёком прошлом Силкин зависел как хозяйст-

венник, то есть *добытчик* и *толкач*, теперь перешла у него в иную плоскость, когда он должен был, подобно артисту, перевоплотиться в новый малознакомый образ, то есть в *сиятельство*, и, по крайней мере, внешне соответствовать. Вот он и старался!

В общем, был Силкин облачён в суконную куртку болотно-песочного цвета в крупную чёрную клетку, в такого же цвета галифе и в атласные краги со шнурками, а голову прикрывало странное английское кепи, сочинённое по образцу колониального шлема, с двумя козырьками — наперёд и назад. Сумасбродность его наряда усугублялась ещё и тем, что в руке он держал «пистоль Дантеса».

Ничего хорошего от общения с ним ждать не приходилось.

Глава девятая

ВЫКРУТАСЫ ГРАФА

I

— А-а, попался! Ты кто таков?! — проорал, распаяясь, граф Чесенков-Силкин. — Кто, спрашиваю?! Всякий тут станет заявлять, ...! Вишь ты, барон! Думаешь, поверю? Говнюк ты, а не барон! Интилихент сраный! Да знаешь, что я с тобой сделаю? В землю зарюю! На три метра! Живого! С-час прикажу! Понял?! И никто не узнает, где могилка твоя, ха-ха, — пропел, хохотнув, он. — Знаешь, чьи тут владенья? Мои! Здесь моя воля! Усёк, пи...?

Выдав сию грязную порцию нарочитого гнева, Силкин засопел над своим пистолетом: всыпал в ствол пороха, вогнал пулю, после чего неуклюже, вперевалку, как разжиревшая баба, двинулся к моему водительскому окну. Заглянул вовнутрь с пристальной жадностью, опять же чисто по-бабьи! Удостоверившись, что в машине никого больше нет, отошёл на четыре шага и, неожиданно развернувшись, вскинул руку, целясь мне в лоб. И опять по-дикому принялся распаять себя в неудержимом гнев:

— Да ты ... ! Да ты ... ! Да знаешь ... ! Родька! Ромка! Сюда, сволочи! Вытащить этого пи...! Да собак привяжите, неради-

вы! — кричал-командовал он. — Ну ты, интилихент сра..., а ну-ка опусти стекло! А то вмажу — в крошewe захлебнёшься! Слышь, гврю?! Башку продырявлю! Открывай, гврю! Ты арестован! Посидишь у меня в подвале! С крысами! В ногах валяться будешь! Барон, вишь ты! Самозванец! А ну выходи!

Я подчинился, убеждая себя, что граф прежде всего куражится, будучи к тому же, как и в прошлый раз, изрядно пьян. Наверное, свой ежедневный *графин* уже вылакал. А пьяный кураж — похуже любого гнева, опаснее, потому что непредсказуем. Произойти могло всё, что угодно, если раздражать этого дуrolома дальше. Ведь вдруг оступится, как там, в лавке древностей, сорвёт курок и тогда могут закопать и, действительно, *никто не узнает, где могила моя...* Ведь никто не представит, куда меня занесло, в отчаянии соображал я. Разве что Счастливов? Только он знает, куда я собирался, да ещё, пожалуй, Базлыков... Но и им не придёт в голову такая жуть! А эти соврут: мол, был — но уехал... Ещё поизгаляются, покошунствуют...

Меня охватил вполне объяснимый страх. Торопливо шептал: «Господи, прости и помилуй! Неужели допустишь расправу? Неужели не остановишь злодея? Неужели не спасёшь?»...

И тут — для того, видимо, чтобы предотвратить непоправимое — случилось такое, чего я не предполагал, не предвидел, не ожидал — прямо-таки чудо! В моём нагрудном кармане запиликал — пи... пи... пи... — радиоприёмничек, в который был вмонтирован крошечный электрический будильник. Я специально поставил его за минуту или две до четырёх, чтобы послушать новости. И теперь, в этой отчаянной ситуации, сразу сообразил, как использовать позывные во спасение.

Я поднёс мембрану к губам, выключил пипикание и принялся громко, будто в радиопередатчик диктовать: «Пеленг! Пеленг! Запеленгуйте меня! Село Гольцы. Голь-цы! Луговой берег Оки. Вторая старица от Княжеского взгорья. Вооружённое нападение. Повторяю: вооружённое нападение. Трое с собаками. Главарь Силкин! Повторяю: Сил-кин! Семён Иванович. Часто именует себя графом Чесенковым-Силкиным. Повторяю: Че-сен-ковым-Сил-ки-ным. Торопитесь! Жду». И тут ещё раз успел выдать последние протяжные пи-пи, как бы подтверждая, что мой призыв услышан.

II

Семён Иванович растерянно опустил свой грозный «пистоль дуэлянта», а подскочившие к нему ряженые обалдуи, Родька с Ромкой, оцепенело замерли с открытыми ртами: они ни чуточки не сомневались во всамделишности моего «радиообращения». Опомнившись, Силкин с мрачной серьёзностью, протрезвело выдавил:

— Ты откуда меня знаешь? Ты кто таков?

— Барон Штольц, — подтвердил я, всё ещё упрямясь.

— Врёшь! — и замолк, не выругавшись. — Вижу, что врёшь. А ну-ка дай мне эту штуку!

— А ключи от квартиры не желаете? И хватит меня хамски тыкать! — взорвался я: уверенность возвращалась ко мне.

— Да я тебя! — взорвался и он, но тут же опомнился, однако по инерции заключил угрожающе: — С-час прикажу, и того, на три метра...

— Хватит паясничать, Силкин! — перебил я резко. — Зови Ордыбьева!

Тут он совсем растерялся — набычился, пригнулся.

— Ты, чё, и его знаешь?

— Знаю и его.

— Смотри, бляха-муха, пожалеешь. Хозяин у нас без церемоний. Он сразу того, понял? Не сдобровать тебе! Никакая Москва не поможет! Арсаныч — он кремень. Он всех насквозь видит. Быстро тебя расколлет, понял? — бормотал себе под нос ещё минуту назад грозный хозяин здешних мест. — С-счас вот доложу, а то нашёлся тут!

Он вытащил из кармана своей болотной, клетчатой куртки, в какую, похоже, был одет доктор Ватсон в известном телефильме, мобильный телефон, настучал цифирьки:

«Слушай, Миш, Мухаммед Арсаныч, — подобострастно заговорил Силкин, — тут такое дело, понимаешь: этот хмырь чё-то про нас знает. У него пеленгатор. Запеленговал, падла, и ждёт подмогу. Подъезжай, а? Разберись сам... Ладненько! Будь сделано!»

— Так бы сразу, Семён Иванович, — заметил я вполне удовлетворённо, не обратив внимания на очередное оскорбление. — А знаю я Ордыбьева ещё со времён, когда он секретарём райкома партии работал, а вы, ваше нынешнее сиятельство, числились у него в помощниках. Правда, затем он вас в управделами выдвинул, но недолго вам удалось попользоваться властью.

— Ты, чё, следовательно? — мрачно спросил Силкин, оперев в меня свои слюденистые, немигающие глаза. — Ты, чё, по доносу? Надьки Ловчевой? А ведь в точь! Как пить дать! — обрадовался он. — Н-ну, даёт! Вот ведь сука рваная, сама подохла, а проверяльщики до сих пор ездют! Чё ж она из-под земли, что ли, письма шлёт, га-га?!

В тон ему подобострастно гагакнули два его обалдуя, а квадратный, кабаноподобный Ромка, поспешил, угодничая, добавить гадливую гнусность: «С червями, бля, в конверте, га-га...».

— Точно! — подхватил *сиятельство*, — скелетом скачет по домам! Почтальонша, бляха-муха! С червями могильными в конвертах, га-га...

— Не бойтесь, что и к вам заявится? — вставил я. Кощунственная гнусность меня возмущала. — Ещё бы и клюкой добавила вам по лбам. Чтобы дурь вышибить.

— А нам страшилки нипочём! — взвизгнул угодливый Ромка.

— Ага, нипочём! — вскричал и граф. — Мы ни в Бога, ни в чёрта не верим, га-га...

— А ведь вы, Семён Иванович, на одной парте сидели с Надеждой Дмитриевной. В юности увивались за ней, жениться мечтали. Только она вам отказала. А для вашей матери всю жизнь вроде дочери была. Не стыдно кощунствовать?

И опять эти трое оцепенело тарасили на меня зенки, ничего не понимая: откуда такое-то могу знать? А в Силкине недоумение переходило в едва сдерживаемую ненависть. Он готов был не то что разрядить свой экзотический пистолет мне в грудь, или в лицо, но прямо-таки зубами загрызть, разорвать в клочья, как его кровожадные псы. Однако сдержался, прошипел лишь:

— Компромат надыбливаешь, с-сыщик? Торговаться прибыл? Да я тебя, если Арсаных дозволит, не то что на три метра, а попервоначалу на дыбе испытаю, а потом на костре поджарю, со-

бакам ещё живого скормлю, понял? Ну, погоди, — угрожал он, — вот подъедет Арсаныч, я уговорю его, а он крут, ох, как крут! Не сдобровать тебе, уж поверь, я тебя винтом закручу, в трубу засуну, вниз головой на муравейник поставлю! По-азиатски прикончу, как Чингисхан, понял?

Именно в этот момент, когда я должен был ужаснуться возможной жуткой казни — по-азиатски, хуже, чем в аду, — на Княжеском взгорье, где когда-то стоял белый усадебный дом с шестью колонами, открытый на весь окский окоём, — да, именно при самых страшных угрозах Силкина на блёском, глянцевом просёлке показался чёрный лимузин. Он нёсся стремительно, будто на пожар. Через три минуты резко затормозил, качнувшись, метрах в ста от нас. Побледневший, сразу вроде бы осунувшийся «граф» подобострастно затрусил вперевалку, в самом деле, как разъевшаяся баба, к истинному хозяину нынешних Гольцов.

Из чёрного лимузина с непроницаемыми стёклами никто не выходил и, прямо скажу, я вновь ощутил неподдельный, липкий страх и очень даже пожалел, что затеял эту, в общем-то, совсем ненужную историю. Опять само собой шепталось: «Господи, спаси и помилуй... Неужели допустишь... Неужели не спасёшь...» Перед моим мысленным взором вновь возник иконный лик Христа, печальный и ласковый, внушая, что страшиться мне нечего.

Но всё же, всё же...

Разве мог я чувствовать себя в безопасности в окружении новых мафиозных владельцев голицынского поместья, уже сведших в могилу Надежду Ловчеву, не отступившую перед их хищным натиском? Вот и объяснение, подумалось горько, фанерки на калитке палисада — «Дом НЕ продаётся!» Видимо, дочь выполняет последнюю волю усопшей.

III

Прирождённый мерзавец Семён Силкин...

Хотя отчего ему быть «прирождённым»? Ведь его мать Дарья Фёдоровна являла собой достойную, добропорядочную женщину, эталон сельской учительницы. Из тех, кого воспринимают подвижницами, особенно на ниве народного просвещения.

Мне вспомнилось, как жаростно спорил Вячеслав Счастли-вов, доказывая, что понятие *прирожденности* или *врожденности*, возникает не из родовых корней, а опосредственно, отражая знаковую поступков, которые диктуются эпохой, социальной средой, проще говоря, самим Временем! Я не очень-то с ним соглашался, утверждая известную формулу, приведенную Иваном Алексеевичем Буниним в «Окаянных днях», что д у б и н а и и к о н а — из одного дерева! Мы спорили долго, пока наконец не сошлись на той черте, которая многое объяснила, — на широко распространенной ш а т к о с т и русской на-туры. Эта смысловая подвижность, оправдательная вольница все-гда и во всем доводит русского человека до крайности — или до святости, или до злодейства, а часто и до того, и до другого.

Наш спор на этом не закончился. Вячеслав, который тогда работал над очерком «Первый коммунар» — о деде Семёна Сил-кина, взялся разобраться в житейской конкретике матери-подвижницы и сына-отступника, чтобы убедительно выявить от-сутствие врожденности в проявлениях добра и зла. Однако мне это не показалось доказуемым. Ну, ведь правда — из одного де-рева и икона, и дубина, ан нет, выходило всё же, что именно Время совершает работу, решая каковы наши судьбы, каковыми нам быть...

Дарья Фёдоровна после войны оставалась единственной в Гольцах из рода Чесенковых. Её отец, Фёдор Филиппович, зем-ский доктор, выпестовавший Гольцовскую больницу, после рево-люции подвергался гонениям, в середине двадцатых годов был репрессирован, сослан на Соловки, где и погиб. По характеру она продолжала его линию: мягкая, жалостливая, а в своём подвиж-ничестве — неутомимая. Кстати, полная противоположность соб-ственной матери, Ольге Герасимовне Фионовой, так и не взявшей фамилию мужа, потому что доктор Чесенков постоянно был на подозрении у Советской власти как пособник контрреволюции, обвиняемый даже в гибели первого коммунара. Хотя Ольга Гера-симовна оставалась всего лишь фельдшером, однако сумела на-следовать Гольцовскую больницу после ареста мужа. Это про-изошло по той причине, что она публично и письменно отеклась от него. Похвальный поступок оценили органы ОГПУ и даже по-ощрили её — не стали возражать против её заочного обучения на

медицинских курсах. В дальнейшем Ольга Герасимовна Фионова даже добилась правительственной награды — ордена «Знак Почёта».

Женщина целеустремлённая, неотступная, всегда знающая, что и ради чего необходимо делать, чтобы быть с теми, кто у власти и в силе. Её не волновали ни идейные, ни политические вопросы, тем более всяческие противоречия; она убеждённо подчинялась требованиям Времени, заботясь прежде всего о том, чтобы её дети — Дарья и Дмитрий, были на высоте положения, несмотря на соловецкое клеймо отца, на раскулачивание его старшего брата, Ивана Филипповича, сосланного вместе со всей многочисленной семьёй на Север, в необжитую тайгу.

Её неотступная лояльность властям отводила любые напасти. Но с повзрослевшими детьми ей не всегда было просто, особенно с сыном. Но он ей всё прощал. Отчего? А оттого, что мать вторично замуж не выходила, хотя предложений было немало. Она оставалась верной неуходящей памяти Хромого доктора. Так помнили в районе Фёдора Филипповича Чесенкова: за хромоту, но прежде всего за доброту, за ласковость, а главное за то, что он будто бы вылечивал от всех болезней. Эта народная легенда о Хромом докторе жива до сих пор.

Непреклонная и деспотичная Ольга Герасимовна Фионова своей властной рукой соединила судьбу дочери и комсомольского вожака Ивана Силкина, сына первого коммунара, рождённого после его гибели ссыльной учительницей, эсеркой Ефросиньей Князевой. По силе воли, по идейным убеждениям, по неотступности в делах и поступках Ефросинья Князева, между прочим, превосходила твёрдокаменную Ольгу Фионову, в чём та не стеснялась в открытую признаваться. Судьба её была трагическая: ещё при жизни Ленина она была расстреляна — в 1922 году, после знаменитого эсеровского процесса. Двухлетнего сиротку Ивана Силкина взял к себе и воспитал одноногий коммунары по прозвищу Пушкарь — бессменный председатель Гольцовского сельского совета...

Иван Силкин и Дарья Чесенкова любили друг друга, но, окончив педучилище в Городце Мещерском, разъехались учительствовать в разные концы района, и всё ведающая в человеческих делах, как сивилла, Ольга Герасимовна, не откладывая на-

долго, вновь и накрепко их соединила и, расписавшись, всю весну тысяча девятьсот сорок первого года они были небесно счастливы... Но уже летом их любовь трагически оборвалась: и сын их, Сёмушка, появился на свет после гибели отца, — как и сам его отец, — будто заклатье было на роду написано... Верной погибшему мужу, — как и её мать, Ольга Герасимовна Фионова, своему незабвенному Хромому доктору, — оставалась и Дарья Фёдоровна.

Пока бабуля была жива, всё светлое и правильное ясно и твёрдо присутствовало в их доме сельских интеллигенток — докторши и учительницы. Смерть бабули пришлась на подростковый возраст внука, возраст дурной и вздорный, и мягкосердечная, совсем не кремнёвая Дарья Фёдоровна почувствовала — полетел по жизни её сыночек без руля и ветрил: посыпались бесконечные проказы да сплошные неприятности.

Неукротимый и настырный, весь в бабку, да только без её принципов — праведных или просто житейских, что, в общем-то, не суть важно, завертелся её Сёмушка колесом, да всё не туда. Теперь его взгляды формировал, невзирая на протесты и слёзы матери, двоюродный братец, Женька Норкин, — зловредный лоботряс и вороватый потешник. За мешок картошки, умыкнутый из совхозного склада, — а кража уже была далеко не первой, — их осудили на три года и отправили в колонию несовершеннолетних преступников в Суздаль.

Но Сёмка пробыл в камере-кельи бывшего Ефимьевского монастыря всего четыре месяца: ленинградская родня и в первую очередь его дядя, материн родной брат, Дмитрий Фёдорович Чесенков, заслуженный геолог, орденносец — и за геройство на войне, и за разведку недр, — сумели вытащить его из уголовной среды. Однако отпечаток колонии, словно родимое пятно, оказался неистребимым. Не помогло и то, что дядя взял его к себе в Питер, определил в школу. Психология Семёна как-то затвердела на тюремной фене и понятиях, и в своей подростковой среде он воспринимался парнем п о р ч е н н ы м, — нечестным, подловатым и даже дурным. Особенно за то, что постоянно стремился потешаться над теми, кто слабее, незащищённее, — чтобы больше унижить, придавить. Эта злая страстишка — понасмешничать над себе подобными, причём без меры, а порой и жестоко,

отчуждала от него одноклассников. Его сторонились, и дружбу с ним не водили.

В общем, со сверстниками он оставался блатным, враждебно-задиристым и подло-насмешливым, чем отличались в те годы все, прошедшие зону и лагерный произвол. Хотя пути с братаном Норкиным у него разошлись — тот напрочь прикипел к уголовщине, — однако и в Питере нашёлся ему подобный, тоже двоюродный братец, но уже не по отцовской, а по материнской линии, Вовка Наумов, сын одной из сестёр Чесенковых, из трёх его двоюродных тёток, с которым они в начале хрущёвской оттепели-перестройки, когда до одури разоблачали культ личности Сталина и жили «в мире и дружбе» с Америкой, втайне фарцевали на Дворцовой площади и занимались вымогательством в молодёжной среде.

После семилетки, прожив в Питере полтора года, Сёмка Силкин вернулся в Гольцы к матери, легко после ленинградской школы поступил в Индустриальный техникум в Городце Мещерском, учился, правда, там шаляй-валяй, не по способностям, и, видимо, поэтому — высокомерный, заносчивый, раздражавший не только своих сокурсников, среди которых постоянно пытался брать верх, но и педагогов, над коими любил поизмываться, — в общем, с последнего, пятого, курса попал в армию, — в отместку, для перевоспитания, не защитив диплома, так и оставшись на всю дальнейшую жизнь с незаконченным среднетехническим образованием.

В армии, во солдатах, где к его питерскому апломбу добавился и студенческий, он относился к рабоче-крестьянской массе с презрением и насмешливостью, за что не раз получал по мордам. Его «избранность» не нашла и должного понимания среди сержантского и офицерского состава. Для командиров он был такой же как все, а, пожалуй, даже и хуже, ибо чего-то там о себе мнил. Поэтому в тяжёлых работах и унижительных нарядах ему не отказывали.

Из армии Силкин вернулся с кипящей к ней ненавистью и с убеждением, что сокращать её кадровый состав, надобно не на миллион, как желал Никита-кукурузник, а подчистую. Между прочим, тогда же он воспыпал жгучей злобой и к собственной стране, где, оказывается, нет ни свобод, ни демократии, ни благо-

получия, ни всякого иного прочего, о чём уже в открытую трубили народившиеся диссиденты, не считая, конечно, множественные зарубежные радиоголоса.

Женился Семён Силкин на татарке, единственно для того, чтобы уехать от матери, не *гнить* в Гольцах, а *раскрепоститься* в Городце Мещерском. Связав свою судьбу с Розой Кадыровой, он совсем не думал о её национальности — тогда ведь постоянно и неотступно всем внушалась советская *б е з н а ц и о - н а л ь н о с т ь*; к тому же, внешне Роза никак не отличалась от большинства других девушек, может быть, только своим твёрдым неприятием его домогательств, что, кстати, ему очень понравилось.

Миф о «едином советском народе», хотя провозглашался публично и навязчиво, был очень далёк от жизненных реалий. Когда Роза объявила, что хочет выйти замуж за русского, за Сёму Силкина, которого любит, в её спокойной, уютной, укоренённой в родственных связях, татарской семье случилось, можно сказать, землетрясение. Возможно, именно тогда она впервые осознала всю изощённую ложь идеологических мифотворцев, впрочем, как и Семён. Верность национальным преданиям в татарской диаспоре незримо, но строго охранялась, и только один человек мог дать добро на её брак с возлюбленным — её отец, Султан Ахметович Кадыров, соддат войны, вступивший в ВКП (б) на фронте. Он убеждённо высказал своё твёрдое согласие, но опять же только после того, как в доверительной, долгой беседе с Семёном объяснил ему, куда он идёт примаком и какие законы неукоснительно соблюдаются среди татар.

Оказавшись в примаках, в семье, где сурово главенствовал Султан Ахметович Кадыров, вечный зам дюжины начальников Горхоза, как правило, русских, по крайней мере, по паспорту, Силкин впервые ощутил деспотическую мужскую силу и сразу ей покорился. Питерский дядя Дима, нет, тот не был деспотом, такой же разглагольствующий интеллигент, как и мать, а вот крутой Султан Ахметович ему по-настоящему нравился, и он без колебаний признал в нём своего назывного отца.

Всю длинную эпоху брежневского застоя, или развитого социализма, под руководством тестя-отца молодой зять-сын благопристойно процветал на хозяйственном поприще, наживая за-

конно, а порой и незаконно, как многие тогда, солидный домашний достаток, и в конце концов дослужился до почётной должности управляющего делами райкома КПСС, где попал под строгое покровительство очень влиятельного и перспективного секретаря, — да, Ордыбьева.

Истинное возвышение Силкина, а заодно и освобождение от гнёта тоталитаризма, о чём он впоследствии любил вспоминать с насмешкой и двусмысленностью, произошло на излёте горбачёвской перестройки, а точнее в самые разрушительные годы запылавшей либеральной революции — 1989-й, 1990-й, 1991-й, ну, а дальше начался ельцинский беспредел, где Силкин уже был кум-королём... Кстати, именно в эти годы умер стальной партиец Султан Ахметович Кадыров, его грозный тесть, и сразу же за ним — строгая теща. И Семён Иванович Силкин обрёл не только полную личную свободу, но и первоначальный, достаточно крупный капитал, который он ещё не знал на что тратить. Попервоначально купил подержанную «ауди» — машину давнего вожделения, а также трёхкомнатную квартиру в Рязани, если придётся скрываться за неблагоприятные проступки и форменный грабёж, да, от разоблачений и возможного судебного преследования. Там же сразу поселилась жена, так как две дочери, Люба и Зина, обучались в рязанских вузах, а младшая, Лена, возжелала учиться в *английской* школе, то есть спецшколе, где ряд предметов преподавался на английском языке. Так на проспекте Новосёлов в областном центре возник новый силкинский очаг. Но сам он оставался в Городце Мещерском, где безоглядно вёл сомнительные дела, а главное, где неожиданно получил неограниченную свободу, а у него к тому времени, как говорится, проснулся бес под ребром, и он с той же безоглядностью бросился в любовные приключения. И понесло, и закрутило...

Таким образом, все присущие Силкину мерзости с подросткового воровского прошлого расцвели в либеральную вакханалию гигантскими, ядовитыми *мухоморами*, а к концу рыночного десятилетия — эпохи нестроения, разрухи, беспредела, обогатившись безмерно, возомнив о себе чёрт знает что, Семён Иванович Силкин и в самом деле превратился в законченного мерзавца.

Нет, конечно, не в *прирождённого* — и здесь Вячеслав Счастливов прав, — а именно в *законченного*, хотя ведь по сути раз-

ницы никакой! А наши со Славой громкие споры, выходит, ничего не стоили: всё — суета и тлен, а точнее, суесловие, которое лучше бы избегать в жизни, — и как можно чаще!

IV

Силкин у заднего окна «мерседеса», стянув свой двухкозырьковой кепи и обнажив лысину, бурно жестикулировал, видимо, в пристрастии и гневе излагая Ордыбьеву перипетии случившегося. Несомненно, поносил меня самыми последними словами, внушая грозному Арсанычу, что прикатил я сюда с компроматом, чтобы шантажировать. Безусловно, пугал: мол, вот-вот объявятся мои вооружённые дружки, вызванные по радиопередатчику, набалтывал и всякую другую белиберду. И хотя всё это было бесконечно далеко от истины, как от окских берегов до луны, но разве докажешь обратное, разве поверят новые господа в то, что завернул я сюда больше из любопытства, из убеждённого неприятия нынешней эпохи, чем ради какой-то там с ними *разборки*.

Однако как же выпутываться из этой отчаянной ситуации? — уныло соображал я. Было ясно, что с мафиози нормальный диалог исключён, а мои искренние объяснения они вряд ли воспримут, наоборот, их подозрительность возрастет. Впрочем, решил я, буду говорить правду. Только она и может спасти...

Из «мерседеса», между тем, никто не выходил, а грузный Силкин вдруг с подобострастной торопливостью, вперевалку, той же бабьей побужкой, засеменял к «гранд-чироки». На бегу обеспокоено кричал: «Родька! Ромка! Где вы, сволочи? Сматываем отсюда!» Те тут же кинулись к машине, едва удерживая на поводках скачущих, лающих псов.

Я ждал, что граф прикажет что-то и мне, но тот даже и не взглянул в мою сторону. «Гранд-чироки» взревел и рванул, прямо-таки прыгнул, — и понёсся по сухостою, взлетая на кочках, словно гигантский кузнечик: подальше от затеваемой разборки...

Глава десятая

В ОДИНОКОМ ЛУГОВОМ ПРОСТОРЕ...

I

Я чувствовал себя ознобисто одиноким в ветренном просторе окских заливных лугов. Из «мерседеса» и теперь никто не выходил, и я догадался, что там ждут, когда я сам направлюсь к ним, прежде всего к Ордыбьеву, а может быть, приезда моих дружков. Что ж, ждите! — возмутился я. Гордыня зыграла во мне, и я ни за что не желал идти на поклон к самозванным господам. Конечно, понимал всю призрачность своего фрондёрства, однако гордыня очень часто выше нашего рассудка.

Прислонившись спиной к машине, закурив, упрямо, по прямой глазел в даль: на окровавленные перышки утиного селезня под вычурным, как бы черепичным навесом — остатки собачьего пиршества; на спокойно, безмятежно плавающее по нефритовой глади утиное семейство — селезней и самок, совершенно равнодушных к трагической судьбе сородича.

«Где же его одинокая, как *мысль в мироздании*, самочка? — навязчиво вспоминалось вычурное сравнение. — Его неразлучная подруга? Или утки так же забывчивы, как и наши возлюбленные?»

Моя мысль произвольно перескочила на судьбы человеческие, и хотя человеческая смерть сопровождается горечью утраты, слезами печали, но и это удручающее состояние проходит, всё забывается, память недолговечна, чаще всего коротка — об ушедших, погибших, исчезнувших... И в этом, выходит, тоже великая тайна, великий смысл, как в самой жизни, как в самой смерти... То есть: т а й н а з а м ы с л а неведома роду человеческому во все времена — с сотворения мира; во всех поколениях, начиная с Адама и Евы, потому что и эта тайна, и этот смысл — да, Божественные!

Мне вспомнился мой *мысленный* разговор с Вячеславом Счастливым по пути из Старой Рязани в Новые Гольцы, который, кстати, начался с того, что я иронично спросил, взят ли

«любовный бастион»? Появилось ли новое имя в его «донжуанском списке»? Имя Лары Крыльцовой. Вячеслав с порога отверг мою подначку и отвечал серьезно: «Метафора о *бастионе* неуместна, потому что он решил соединить свою судьбу с Ларой». — «Вот как?!» — поразился я. — «Да, именно так, — подтвердил он и добавил: — Я надеюсь, что третий мой брак окажется счастливым». У меня не повернулся язык поиронизировать, обыгрывая его *счастливую* фамилию, но неожиданно для него, а, главное, для себя, я с вызовом бросил, что и сам готов испытать судьбу, — и почему бы не с Ларой?! Наш виртуальный диалог, конечно, тут же оборвался.

О чём же мне думалось теперь — в покинутости, в полном одиночестве, перед неизбежной разборкой с Ордыбьевым? Не поверите — о сущности бытия! Мне вдруг вспомнилось однажды услышанное признание, которое я осознал по-настоящему, пожалуй, только в эти минуты: глубокий старик, известный профессор, тончайший знаток средневековой Московии, на бриллиантовой годовщине своей свадьбы проникновенно заявил: *«Мы так бесконечно нераздельны с моей вечной спутницей — вы догадываетесь, почему? Она — из моего ребра!»*

Господи, как же это верно! — подумал я тогда и думал теперь. — Ведь всё извечно повторяется. Мы, оказывается, плохо помним библейские истины, в частности, ту, что Господь создал Еву из ребра Адама...

Выплыло из небытия и совсем давнее, изначальное в моей взрослой жизни, — то, что я встретил только одну «Еву», и была это моя первая возлюбленная... Только о ней с абсолютной уверенностью я бы и сейчас мог сказать: *она — из моего ребра!*

Господи, помню как тогда неотвязчиво снились вещие сны, будто кто-то свыше убеждал меня в истинности нашего единения. Сны о двух мальчиках, моих сыновьях, похожих на неё, мою «еву» — Наташу Жильцову... И сами мы с ней снились — в разные годы, до глубокой старости... Снились отчётливо ясно — на годы и годы вперёд... И я до сих пор не могу понять, отчего и зачем мы расстались?..

А опять встретились лишь четверть века спустя, когда уже ничего не исправишь... Может быть, для того, чтобы узнать... нет, чтобы понять, что ни у неё, ни у меня н а ш и мальчики

не родились... Вообще не дал Господь мальчиков... Хотя и она, и я уже были во вторых браках...

И мы с Наташей — Наташенькой! — встретившись годы и годы спустя, невысказанно скорбели... да, о том, что дарованные в *вещих снах* мальчики не родились, и уже никогда на белый свет не появятся...

А что же ныне? В моём добровольном отшельничестве в мещерской глубинке, куда не часто ночными автобусами наезжает жена?.. Мне порой казалось, особенно в последнее время... Вернее, я вдруг почувствовал в Ларе, Ларисе Григорьевне — надо же, какое созвучие в фамилиях: Жильцова... Крыльцова... — так вот, я почувствовал в ней будто бы своё «второе ребро». И кольнула мысль: первая любовь не состоялась, а остальные уходили, уходят... По крайней мере, гаснут... А всё равно надеешься на чудо... Оттого-то, вероятно, и возникла в мысленном диалоге с Вячеславом такая реальная ревность, боле того, решимость к соперничеству... Оттого-то, пожалуй, стали частенько случаться приступы необъяснимой тоски, боли душевной... Потому что, думалось мне, если жена не из твоего ребра, то не будет она нераздельной ни в делах, ни в жизненных устремлениях, а это значит: просто тянется совместная жизнь... У кого-то вполне удачная, а у кого — вовсе неудачная...

Что ж, наша жизнь по Божественной задумке — в воле нашей, но жаль, что мало кому из нас дано прозревать подсказки свыше, и ещё меньше кому исполнять их — покорно и с радостью.

Странно, конечно, что это печальное — нет, светлое! — воспоминание возникло в столь опасный, критический момент.

II

Я тоскливо смотрел за Оку, в беспредельность Неба — пепельно-голубого, предвечернего; с усталым, не греющим солнцем, но ласковым, по старчески добрым... И такая отрешённость, такое безволие, угнетённость духа наполняли моё сознание, что я не услышал ни хлопка мерседесской дверцы, ни приближающихся шагов, вероятно, вкрадчиво мягких, умелых, и потому конвульсивно встрепенулся от окрика: «Руки за голова!» Обомлел:

передо мной стояли два чёрных человека. По всем понятиям чёрных — и по кавказскому обличью, и по униформе концерна.

Один из них был мне знаком: косматый, белозубый, с лениво-наглым поглядом, — охранник, которого я первым встретил в Новых Гольцах. На груди у него висел короткоствольный карабин «Узи». Подобный ему по мощи, по крепкости фигуры был и напарник, но не буйно-заросший, а тщательно выбритый, с тонкими вылизанными усиками, какие носил первый президент Ичкерии Джахар Дудаев.

Косматый бесшумно шагнул вплотную и тихо, но угрожающе произнёс: «Побэг — стрелат будэм». Он грубо обшарил и облапал меня. Из карманов куртки извлёк радиоприёмничек, документы, ключи от машины. Сопротивляться было бесполезно. «Жды!» — приказал он, ухмыльнувшись презрительно и надменно.

Во мне закипела яростная обида. В безрассудстве я сбросил с затылка руки. Тот метнул по-звериному злобный взгляд, но даже не пригрозил карабином, и я догадался, что команды расправиться со мной не было. К тому же, дудаевец вяло, но твёрдо произнёс: «Шамыл, нэлзя».

Я осмелел, взвинчено бросил:

— Скажите Ордыбьеву, что здесь не зона! Не гулаговский концлагерь! И на него найдётся управа!

Надо было видеть, как по-волчьи дико Шамиль оскалился на меня. Сколько бешеной ненависти исторгали, налившиеся кровью, глаза. Такие страшные глазища я уже видел чуть раньше у псов «баскервиллей».

III

В тревожной обиде, в чуткой настороженности я наконец услышал два глухих хлопка. Выждав, резко обернулся: ко мне шествовал сам Ордыбьев. Он подвигался вкрадчивой походкой — с пятки на носок. Как обычно, *личманистый*, то есть видный, казистый, стройно-подтянутый, в кожаном полупальто цвета рубина, с непокрытой головой: смоль с серебром. А за ним, возвышаясь чуть ли не на голову, вперевалку топал человек-гора — не то из борцов-тяжеловесов, не то из штангистов, но и издалека его

рычаги-ручищи поражали своей мощью. Такому и автомат не к чему, а короткий «Узи» выглядел бы детской игрушкой: вот пулемёт бы ему был в самый раз!

Я ждал, теперь ещё болезненней переживая нанесённые оскорбления. А вообще-то, испытывал такое тягучее безволие, что абсолютно не представлял своё дальнейшее поведение. Но я не мог поверить, что Ордыбьев ведёт за собой десятипудового громилу лишь для того, чтобы... ну, скажем, отмутузить меня. Нет, не мог!

Наплыли воспоминания о давней с ним встрече: нестершиеся впечатления не внушали ничего обнадеживающего. При всей импозантности, подчёркнутой корректности, даже обаятельности, занозой врезалось в память, кстати, как ни о ком другом за все эти разломные, смутные годы, — человек он с ледяным сердцем! Несмотря на приветливые улыбки, вежливые манеры, но затвердилось: во взгляде его — арктический холод!

Тёмно-карие глаза с едва угадываемыми зрачками, голубоватый белок под яблоком, как снежная наледь, магнетически завораживали. А потому неподвижный, провально-чёрный взгляд пугал своей нездешностью, как бы даже космичностью. Будто из глубины веков, будто из потустороннего мира некто выглядывал сквозь его чёрные, непроглядные колодези.

Ордыбьев гипнотизировал, внушал страх, а оттого, что угадывать его мысли казалось невозможным, то — двойной! Ещё тогда, при нашем знакомстве, я подумал, что такому тяжёлому, нездешнему взгляду непременно должна сопутствовать привлекательная внешность, чтобы скрывать ледяное сердце и пронзительный ум, в чём невольно и сразу убеждался любой маломальски наблюдательный человек, особенно если ему удавалось хоть чуть-чуть проникнуть в ордыбьевское зазеркалье.

Мне тогда, кажется, удалось. Помню, я высказался о мрачной сущности, о жестокости природы Ордыбьева, сокрытой за внешней привлекательностью, Вячеславу Счастливову, но он прямо-таки оглушил меня своим несогласием.

— Ну чего ты наплёл? — безапелляционно возразил быстренький Слава. — Космичность, злодейство, холод Арктики. Да он просто татарин!

— И только?! — поразился я. — И все татары такие?

— Нет, конечно. Но такие, как Ордыбьев, особые, — свысока пояснил Счастливов. — Заметь: он не скуласт, не помонгольски узкоглаз, вроде бы типичный русак, но, пойми, он ведь пестовался на Руси ещё с ордынских времён, с батыевых! Может, из рода мурзы, может, баскака, но этот, уверен, ханский отпрыск. Взгляни в его глаза: да, взгляд, пожалуй, из вечности, но типично татарский, то есть азиатский. Просто: чёрный взгляд!

Не знаю, в чём мы, как всегда, со Счастливовым не сошлись, но его определение «чёрный взгляд» врезалось в память.

IV

Ордыбьев остановился напротив, всего в шаге, вежливо и приятно улыбнулся, однако его чёрный взгляд всё равно настораживал. Некоторое время, достаточно затяжное, он всматривался в меня, не произнося ни слова, словно угадывая, я ли это? Человек-гора, оказавшийся типичным круглолицым татаринном («Батыр Челубей», — определил я его для себя), оставался в сторонке, шагах в пяти, раздвинув ноги на ширину плеч и заложив за спину свои железные ручищи, — с гордым, богатырским поглядом поверх наших голов.

— Узнаю, узнаю вас, — наконец заговорил Ордыбьев, довольно ласково. — Извините за столь неприятное беспокойство. Вас приняли за совершенно другого человека. Очень уж вы напугали нашего Пупыря, а он, знаете, скверно воспринимает шутки. Но и за него и за себя приношу извинения. Более того, сочувствую вам. Но ничего не поделаешь, такова нынешняя жизнь.

Он протянул мне документы, ключи от машины и радиоприёмничек. Продолжал так же подчеркнуто вежливо, будто ничего исключительного — ни унижений, ни запугиваний — не происходило:

— Очень рад вас вновь встретить. Сколько лет пролетело! Да, да... Все мы сильно переменились. Не спорьте, я знаю, что вы возразите: мол, какими были, такими и остались, только всё худшее вылезло наружу. В чём-то вы правы. Однако не сердитесь за эту досадную оплошность: времена действительно коварные.

Я упрямо молчал.

— А вы ловко надули нашего графа, — рассмеялся он вполне искренне, но глаза, глаза оставались неподвижными, цепкими и ледяными. — Замечательно надули! — Он обернулся к Челубею и произнёс что-то по-татарски. Тот выхватил радиотелефон и альтовым голосом, совершенно не соответствующим его громадной фигуре, строго повторил сказанное.

— Я приказал смыть кровавые пятна с вашего капота, — пояснил Ордыбьев и вкрадчиво добавил: — Не хотите быть моим гостем? Попаримся в сауне, поужинаем, сыграем на бильярде? Просто поговорим, а?

— К сожалению, сильно опаздываю, — отвечал я сумрачно. — Ко мне приезжают друзья и, вероятно, жена. Думаю, они уже прибыли. Но я благодарен за приглашение и, если вы его подтвердите, то уверен, в другой раз обстоятельства мне не помешают.

А сам с беспокойством думал: ещё не хватало оказаться пленником в его замке, во власти его молодцев, таких, как батыр Челубей или звероподобный Шамиль. Поэтому врал во спасение.

Ордыбьев почувал враньё — в проницательности ему не откажешь, но настрой у него был не мстительный, наоборот, барственно-сентиментальный.

— Жаль, очень жаль, — вздохнул он, подчёркивая своё сожаление. — Что же, отложим до следующего раза. Однако, надеюсь, у вас найдётся полчаса, чтобы прогуляться вокруг озера, поговорить о том о сём?

Я принуждённо согласился.

— Видите ли, очень редко в последние годы приходится встречать умных людей, — продолжал убеждать меня он в своей искренней расположенности, — а главное, с независимыми суждениями, как у вас. Я ведь отлично помню нашу давнюю встречу и то, как вы откровенно, предостаточно смело утверждали, что Москва больше не столица России. Правда, не смогли указать новый объединительный центр, хотя, кажется, называли Санкт-Петербургу. Мы ещё с вами крепко поспорили, и вот видите — надолго запомнилось!

— Что ж, я и сейчас в этом убеждён, — хмуро подтвердил я. Он взглянул на меня сбоку, чуть шагнув в сторону, — вопросительно, с удивлением. Я продолжал: — Москва, как была сама по

себе, так и осталась, а Россия существовала вроде бы в отдалении, так и поныне существует. Но новую столицу не могу и сейчас назвать. Хотя мне думается, что столица могла бы вернуться и в Санкт-Петербург, специально возведённый для этого. Там, по крайней мере, величие национального духа! Но мало кто с этим согласен, — заключил я.

— Любопытно... Очень любопытно! — воскликнул Ордыбьев, как бы поощряя меня и подчёркивая, что ему нравится наша стародавняя тема.

Я же хмуро продолжил:

— Если в ближайшие времена не появится новая столица, то сегодняшняя Российская Федерация неотвратимо развалится на части, как, плохо когда-то скроенный, Советский Союз. А точнее, на выморочные псевдогосударства, слабые и беззащитные, — на так называемые национальные *суверенитеты* и региональные *независимости*. В общем-то, к этому всё идёт, причём с ускоряющейся неизбежностью.

— Любопытно, очень любопытно, — повторил Ордыбьев задумчиво. — Поэтому-то не хотелось бы лишать себя удовольствия побеседовать с вами, когда представляется столь редкая возможность.

— Что же, я не против, — буркнул я.

Глава одиннадцатая

НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

I

Должен сказать, при соблазнах интеллектуальных разговоров я тут же забываю о своих обидах, увлекаюсь замысловатыми, острыми спорами, которые мне кажутся судьбоносными. Конечно, я заблуждаюсь, но какая-то часть истины всё-таки приоткрывается. И меня не волнует, что мой оппонент придерживается совершенно противоположных взглядов. Важно лишь то, чтобы он

умел защищать свои позиции. Ордыбьев, безусловно, умел это делать и даже очень изощрённо. Он заметил:

— Теперь, надеюсь, ваши убеждения разделяют многие думающие люди, не так ли? Но тогда, ещё до августовских событий, до поворотного девяносто первого года, это могло быть только прозрением, можно сказать, пророчеством. А призывы пророков сразу не понимают, просто не слышат.

— Спасибо, что сподобился такой оценки, однако я не страдаю эгоизмом. Высокопарными словами не определяю свои раздумья, не преувеличиваю значимость своей личности, — отвечал я хмуро. — Потому что дела наши печальны, более того, трагичны. Лучше бы Москва оставалась тем, чем является. Лучше бы!

— Но вы ведь уже в это не верите?

— К сожалению, не верю, — вынужден был признать я.

— Напомню вам, что при Советской власти вопрос о российской столице, вернее, столице РСФСР, по-моему, ещё более скверном образовании, чем СССР, возникал не единожды, и каждый раз кончался провалом, а иногда, в самом деле, трагически, как с бывшим Имперским градом. Вы-то наверняка помните, что Никита Хрущёв собирался сделать столицей РСФСР Воронеж. Разве не так?

— Да, верно. Кстати, дебатировались и другие города. Например, Нижний Новгород, на слиянии Оки и Волги, где, между прочим, не поймёшь, кто в кого впадает — так величественны обе! Упоминались Ярославль, Тверь, Орёл, а, если вспомнить войну, сорок первый год, то столица без всяких проблем перекочевала в Куйбышев, то есть в Самару.

— А вы знаете, почему?

— Естественно: за Волгу!

— Кстати, за Волгой расположена и Казань, но о ней никто не вспомнил.

Я пошутил — и довольно невежливо:

— Тогда бы Россию пришлось переименовать в Татарию.

Ордыбьев среагировал мгновенно:

— Может быть, теперь наступили сроки?

Мы вынужденно посмеялись, но от прямого ответа я уклонился, пустясь в рассуждения.

— Вот Чечня попробовала провозгласить независимость, объявив себя Ичкерией. На очереди, по логике вещей, именно Татарстан, возможно, Башкортостан, Чувашия, не дремлют и на остальных постсоветских пространствах, в регионах Урала, Сибири, Дальнего Востока. Но самая неотложная задача для русской нации, по моему убеждению, — это сосредотачиваться на своих исконных землях. Ради вероятного будущего.

— Я вас понимаю... Что ж, я вас понимаю, — задумчиво повторял Ордыбьев. Он выглядел помрачневшим, крайне углублённым в себя.

А я продолжал — незаконченная мысль не давала покоя:

— Да, ради вероятного будущего! Империи, царистские или советские, когда-то кончатся. Это следует хладнокровно признавать. И потому важно своевременно соответствовать неизбежности. Прямо скажу: принцип федерализма на неоглядных наших просторах, по моему убеждению, изжил себя. Вероятно, наступило время удерживать государственные скрепы на конфедеративной основе.

— Любопытно... очень любопытно! Но вы ведь знаете, власть не делятся, её завоёвывают, а затем всеми способами удерживают.

— А если исчерпаны силы? Если речь идёт о национальном спасении? Спасаться ведь тоже надо решительно, а не ждать, когда пробудившийся вулкан зальёт огненной лавой.

— Но почему вы связываете национальное спасение с новой столицей? Не понимаю... честное слово, не понимаю! Чем вас не устраивает Москва?

— Москва — это космополис. Вернее, космополитический мегаполис. Самодостаточный. Обращённый к глобальному человечеству, а не к собственному Отечеству, не к многострадальной России. Такой антинациональной, антинародной элиты, захватившей Кремль, никогда не существовало за всю тысячелетнюю историю Государства Российского. То же можно сказать о верхних общественных слоях в нынешнем Санкт-Петербурге, других городах-миллионщиках, которые прежде всего мыслят себя гражданами мира. Но эта всечеловечность, между прочим, совсем не по-Достоевскому, а порочные огрызки так называемых общечеловеческих ценностей, которые лукаво подсовываются...

— Чего же вы всё-таки хотите? — нетерпеливо перебил Ордыбьев. — Ведь новые столицы просто так не возникают! Вы чего-то не договариваете. Доскажите!

— Вы правы. Прежде всего я веду речь о воскрешении русской нации.

— Почему только русской? А другие народы?

Ордыбьев сдерживался, но чувствовалось, он возмущен. Я понимал, что разговор получается ненужным, даже опасным, но уже не хотел останавливаться. В конце концов, и мне было важно знать, какова будет реакция? Мы ведь никогда не уверены, *как наше слово отзовется*, пока не узнаем, каково отношение к тем воззрениям, которые нам дороги, к тому пути спасения, который мы выстрадали и в который поверили — именно поверили!

Но сама ситуация заставляла осторожничать: я ведь не знал, чем могу разгневать истинного суверена здешних мест. И всё же решил идти до конца и, наверное, потому, что пережитые унижения и смертельные угрозы от «графа» и от злобного Шамиля избавили меня от страха, а обходительный, вполне контролирующийся себя Ордыбьев совсем не внушал опасений.

Я начал издалёка, чтобы сгладить его раздражение:

— Вы знаете, Михаил Арсеньевич... ах, впрочем! — деланно спохватился я, — вас теперь следует называть Мухаммедом Арсановичем, ведь так?

— Называйте, как хотите, — раздражённо бросил он, но тут же подавил своё недовольство и даже поощрительно, благожелательно улыбнулся. Однако глаза — его чёрные непроницаемые колодцы — оставались ледяными. — Впрочем...ныне, хотя, конечно, и другие времена, и к прошлому возврата нет, мне думается, пора и нам возвращаться к истинным именам, а в целом, и тут вы правы, к национальным интересам и обычаям. Я слушаю вас... Поверьте, с громадным любопытством.

— Надеюсь, вы с этим согласитесь, — заговорил я скучновато, бесстрастно, как о само собой разумеющемся, стараясь не зацепить его самолюбие, — не станете возражать, что от Балтики до Тихого океана, на седьмой части всей земной суши, проще говоря, в нынешней Российской Федерации, основным, а главное, единственным языком общения является русский язык, один из

пяти великих современных языков. Наверное, пяти, потому, что столько населённых континентов, не правда ли?

Ордыбьев шутки не принял.

— Так было не всегда, — заметил он.

— И вполне возможно, что так не будет в будущем. Если мы этим не озаботимся? Или если просто не захотим этого?

Я сделал паузу, которая затянулась.

— Продолжайте, слушаю вас, — наконец подтолкнул он меня, не желая отвечать на вопросы.

— Другого языка общения нету. Несмотря на сто народов, проживающих в России.

— Он может появиться.

— Да, алчущие известны: Америка, Китай. Впрочем, из-за их спин выглядывает ещё и Япония.

— Допустим. Вы, надеюсь, знаете, что население Сибири и Дальнего Востока за последние годы сократилось чуть ли не на десять миллионов, — строго произнёс Ордыбьев. — На этих пустых просторах осталось всего двадцать... повторю: только двадцать миллионов человек. Причём, на четверть — малые народности. В общем, не густо... совсем не густо! Между прочим, американцы дважды обращались к Кремлю с предложением продать им Сибирь. Как когда-то Аляску и калифорнийское побережье. Они могут и ультимативно потребовать! Так, как они поступают с Югославией.

— Вот поэтому-то я убеждён, что самой неотложной задачей государственного возрождения является создание в европейской части страны русской национальной республики. В этом мистическая, Божественная подсказка! Русь — стержень государства. Носительница единения и единства. Хранительница нашей общей российской цивилизации. Более того, главный бастион от любых посягательств. И обязательно с новой столицей. Да, обязательно!

— А что же Москва? — ядовито усмехнулся Ордыбьев.

— Напомню вам: в самом начале девяностых годов возникла Ассоциация городов Центральной России, куда Москву, где утвердилась вакханалия демшизы, не включили. Значит, во многих умах бродит идея русского национального спасения.

— И всё же... что с Москвой?

— Останется мегаполисом, как скажем, Нью-Йорк. Или Шанхай, или Рио-де-Жанейро, Сидней, Амстердам, Франкфурт, Милан. В общем, финансово-экономическим центром. А Санкт-Петербург, возможно, превратится в федеральный центр: армия, культура, законотворчество. Ему, кстати, имперский синдром, не исчезающий в наших сердцах, более присущ, чем Москве.

— Но ведь это практически то же самое, что предлагает неизвестный Бжезинский! — волнительно воскликнул Ордыбьев. — Вы читали интервью с ним после выхода его нашумевшей книги «Мировая шахматная доска»? — Я согласно кивнул. — Там он предлагает план расчленения России на три части: европейскую, сибирскую и дальневосточную. Создать три государства...

— Псевдогосударства! — подчёркнуто вставил я. — Чтобы два из них, с неисчерпаемыми природными богатствами, мгновенно оказались под американским протекторатом.

— Именно! Вот именно! — восклицал Ордыбьев. — Тогда на чью же мельницу льёте воду? Какая разница между вами?

— Очень большая, принципиальная, — отвечал я, сдерживая эмоции. — Ни о каком расчленении и речи быть не может. Думать надо только о новой организации, о государственном преобразении России, где во главу угла поставлены национальные интересы и духовное возрождение. Вновь подчёркиваю: **в о с к р е ш е н и е** русской нации, с которой, думаю, при желании возродятся и все остальные народы. Вот именно это-то и непонятно *бжезинским*, всем заокеанским стратегам, как, впрочем, и нашим доморощенным сепаратистам. Они всё сделают, чтобы этого не случилось.

— Странно, очень даже странно, — взволновано повторял Ордыбьев. — Неожиданно! И вы верите, что такое возможно?

— Это моё видение. А то, что всё возможно, я не сомневаюсь. Но велик сонм недоброжелателей, противников русской идеи, особенно теперь, когда мы сильно ослабли. Безусловно, по собственной вине. Никогда за весь двадцатый век, коварный и жестокий к русскому народу, мы не были такими слабыми и безвольными.

— И всё же: что вы понимаете под русской идеей?

— Термин этот, между прочим, возник из-под пера Фёдора Михайловича Достоевского и был подхвачен Владимиром Соловьёвым, Николаем Бердяевым, который, кстати, завершил своё философское самопознание книгой так и названной им — «Русская идея». Над этой проблемой мучительно размышляли и Георгий Федотов, и Иван Ильин, и Николай Данилевский, а кроме них многие другие умнейшие русские люди. Не сомневаюсь, что эти имена вам знакомы.

— Да, безусловно, как, впрочем, и другие. Но мне важно в вашем изложении услышать понятие «русской идеи». Они всё-таки размышляли в иных исторических условиях, заметно отличных от того, что мы наблюдаем в конце двадцатого века. Думаю, что мне не изменяет память, — одной непреложностью русского, российского миропорядка является обоснование необходимости для страны монархии. Разве не так?

— Так-то оно так, и монархия понималась как неоспоримая вертикаль власти, причём освящённая религиозной общностью, то есть общей верой. По крайней мере, верой большинства — православием. И опять же: в смысле духовности, нравственности — возвышающих и умиротворяющих начал.

— Но разве только православие возвышает и умиротворяет? — вставил Ордыбьев тоном недовольного скептицизма.

— Нет, конечно, — согласился я, однако настаивал: — и всё-таки Россия — страна россов, точнее, русских! И третья константа нашего миропонимания — соборность, коллективизм, исторически присущие в силу разных причин — географических, климатических, ментальных — именно русской нации. Напомню: это определяло русскую государственность одиннадцать веков! Однако не спорю: новые времена требуют нового осмысления, словесного обновления в понятийности, но ни в коем случае не механического заимствования, что просто погубит русских и их цивилизацию. Мы уже пережили гибель Древней Руси, где царила сбалансированная демократия князя и веча, вернее князя и народа.

— Но вы и до батыева завоевания примеряли на себя византийскую деспотию, — вставил Ордыбьев. — Кстати, Древняя Русь со своими порядками была обречена, — добавил он жёстко.

— Важнее... величественнее русское воскрешение после монгольского ига. Иван Калита первым начал собирание русских земель и на это ушло почти пять веков! За одно продвинулись и на Восток, до Тихого океана, и на Юг — до Гиндукуша, Гималаев, создав империю. Но всё это — невозвратное прошлое.

— Почему же? Будьте оптимистом! — усмехнулся он с ядовитой снисходительностью.

— Хотел бы, но не могу, — отвечал я с подчеркнутым смирением. — Вот ведь в чём суть: нынешний идейный кризис, очень напоминающий кризис всех составных общегосударственной «русской идеи» — монархии, православия, крестьянской общины, городской семьи, родового деревенского быта, культуры, словесности и так далее, м-да... Так вот, современный кризис российского миропонимания является и глубже, и тревожнее, чем век назад. Тот кризис закончился тремя революциями и победой коммунистической идеологии, в общем-то, чуждого для России большевизма, а чем закончится нынешний кризис — пока никому неизвестно.

— И, что же, никакого просвета впереди? — усмехался снисходительно Ордыбьев.

— Отчего же? Мне лично видится русский путь спасения, о чём я уже упоминал, — подтвердил я. — Только ныне не земли собирать нужно, как Калита, а самих русских людей, разбросанных по великим пространствам, — вообще, по всему свету! Чтобы наконец-то заняться о б у с т р о й с т в о м исконной России, народной жизни в ней, к чему, кстати, своевременно и страстно призывает не кто иной, а Солженицын, доподлинно познавший эгоистично-коварный Запад.

— Любопытно... очень любопытно, — повторял растерянно Ордыбьев. — Никак не ожидал такое услышать. Это надо осмыслить и переварить. Заглянуть в источники. Давайте вернёмся к этой животрепещущей теме в следующий раз, чтобы поговорить по-настоящему, по-серьёзному, глубже коснувшись всех аспектов данной проблемы, — с чеканной партийной штампованностью предложил он. — К тому же, мне нужно кое-что у вас выяснить.

— Хорошо, давайте в следующий раз, — спокойно согласился я. — Мне тоже кое-что хотелось бы у вас уточнить.

II

Мы шли по луговой дороге вокруг Утятного озера, как называл эту окскую старицу Ордыбьев, — по двум колеям, уезженным до металлического глянца. Шли очень медленно, заложив руки за спину.

Сзади, очень старательно соблюдая дистанцию, шествовал гигант Челубей и, казалось, что он больше всего озабочен тем, чтобы не нарушить положенного расстояния: видимо, боялся быть заподозренным в подслушивании. Впрочем, его круглая голова с плоским, сытым лицом без единой морщины, но, прежде всего, ленивые, скучающие глаза, незамутненные никакой мыслью, кроме единственной — верно служить Хозяину, не то что не вызвали подозрительности, а вообще — ничего тревожащего. Разве только недоумение: откуда ещё берутся подобные неандертальцы? Ну в самом деле, это был совершенно не самостоятельный, не мыслящий *homo*, не заинтересованный в услышанных словах, не понимающий их значения, хотя, как я догадывался, просто малопонимающий по-русски. Однако, если бы мы заговорили по-татарски, то, не сомневаюсь, он и тут подавил бы в себе желание что-либо услышать, потому что ему Господином внушено ничего не знать, ничего не слышать и ничего не запоминать. То есть: полное подчинение и самозабвенная преданность — г о р о й встать на защиту Суверена.

Эта громадная, грозная фигура тенью скользила за Ордыбьевым, готовая без размышлений и без подсказок к незамедлительным действиям. Именно средневековая, безразмыслительная исполнительность — на моргание века, на движении мизинца — больше всего пугала в нём, в общем-то, по сути своей, наверное, не злобном человеке. И пугала, думаю, не только меня. Я уразумел и ещё одно: «челубей» являлся созданием Ордыбьева, и он им гордился.

Ордыбьев не торопился продолжить разговор, и я решил первым выяснить у него, бывшего райкомовского секретаря, давно волновавший меня вопрос о необъяснимом, обвальном крахе КПСС.

— Мухаммед Арсанович, позвольте вернуться к вашему райкомовскому прошлому, — начал я достаточно вкрадчиво. —

Понимаете, уже несколько лет меня беспокоит, прямо-таки тревожит тема: знали ли вы, райкомовские работники, о предстоящем развале КПСС? О том, что в одночасье она рухнет? Величайшая партия в истории человечества — и вдруг ни с того, ни с сего прекращает существование: почему? Вот вы лично знали или предполагали? Как мне помнится, в один миг вы, три секретаря, пересели из партийных в хозяйственные кресла, причём заранее подготовленные. Разве было не так?

Ордыбьев посмотрел на меня в сомнениях: отвечать нечестно или уклончиво, судя по всему, ему не хотелось, а правдивый ответ его, видимо, смущал. Я напористо продолжал:

— Ведь до сих пор никто публично не сказал и толику правды! А Горбачёв преспокойно живёт, будто и не он князь тьмы? Будто не из-за его игр с Америкой рухнула величайшая партия, а затем и величайшая держава! Но вопрос мой проще: знали ли вы, укоренённые в партийных структурах, о надвигающейся катастрофе?

Ордыбьев не отвечал, да я и сам замолчал, понимая, что ломлюсь в *тайное тайных*, в преисподнюю невероятного саморазрушения. Кстати, в том, что случилось, не наблюдалось ни непримиримой борьбы, ни движения масс, как, скажем, в революции 1905-го и 1917-го годов, а произошло всё по каким-то неведомым планам каких-то невидимых сил, поименованных в дальнейшем *мировой закулисой*.

Действительно, в одночасье из Великой Державы мы превратились в какую-то непонятную *другую страну* — околдованную, разваленную, оболганную. Однако партийные кадры, в частности, среднее звено, не только не пострадали, а, наоборот, поновому возвысились и, как выясняется, кое-что всё-таки знали и притаённо готовились. А это значит, что и на них не меньшая вина за крах сверхдержавы, а может быть, даже и большая, чем на Горби.

Так провоцировал я Ордыбьева, выпячивая и его личную вину за всё произошедшее со страной. Похоже, это его задело, и он решил ответить.

— Поймите самое простое: здесь не в знании дело. Ваш вопрос не вполне точно сформулирован, — взвешенно говорил он. — Точнее его надо поставить так: верили ли мы, как вы вырази-

лись, *среднее звено*, в обвал, в катастрофу и последующее развитие событий? О себе могу сказать прямо: да, верил, потому что в моём кругу такой сценарий прогнозировался. Но большинство не верило...

— Простите, Мухаммед Арсанович, — перебил я, — а что это за ваш круг?

— О-о, на этот вопрос я предпочёл бы не отвечать, считая его некорректным.

— Мне никак не хотелось вас задеть.

— Я понимаю. Но данный вопрос всё же считаю некорректным, — упрекнул он, но тут же смягчился, — хотя в целом ваш интерес к этой теме мне представляется вполне естественным. Так вот, отвечаю: кое-что знали, но больше предчувствовали. Интуиция, понимаете? К тому же, в июле того рокового для Советского Союза года, тысяча девятьсот девяносто первого, неожиданно на нас свалилось постановление Политбюро ЦК об участии партийных органов в хозяйственной деятельности. На это, замечу, выделялся миллиард рублей. Тех ещё, советских. — Он вновь надолго, задумчиво замолчал. Наконец спросил: — Вас удовлетворяет такое объяснение?

— Н-ну, не совсем... пожалуй, да, — быстро поправился я, сообразив, что большего он не скажет. — Хоть и без деталей, но проясняет ситуацию вполне достаточно.

— Ну вот, я с вами откровенен, — Ордыбьев облегчённо улыбнулся и даже как бы по-приятельски: мол, ничего не таю. — А теперь я надеюсь на вашу откровенность.

— Что ж, пожалуйста, — согласился я.

III

С удивлением я сознавал, что наше общение оказалось не только неожиданным по откровенности, но просто непредсказуемым по смыслу сказанного. Вероятно, это был тот самый случай, нередкий в российских бескрайностях, в уединённой тишине и умиротворённой прелести предзакатной природы, когда вдруг мы начинаем исповедоваться случайному встречному, говорить о том, о чём и себе в тайных мыслях не всегда признаёмся. В общем, начинаем выворачивать душу наизнанку. Постараюсь в

дальнейшем передать наш разговор как можно точнее, особенно по тем признаниям, которые выплеснул мне Ордыбьев, как выяснилось, потомок одного из сподвижников Батыя. Да, да, — именно Батыя! Но пока мы ещё преодолевали те преграды, которые создал мой неожиданный визит в Новые Гольцы — так их теперь следует называть! — и, несомненно, моё враньё о «бароне Штольце».

— Это правда, что вы знакомы с той полусумасшедшей учительницей, которая завалила своими кляузами все инстанции? — так же, как и я, вкрадчиво спросил Ордыбьев.

— Правда, — сразу ответил я. — Только вряд ли я стал бы определять это как знакомство. Просто случайно пересеклись пути. Несколько лет назад я приезжал в Гольцы по личной, связанной с князем Сергеем Михайловичем Голицыным, надобности. Она кое-что мне рассказала о Гольцах, об умирающих Гольцах, — подчеркнул я, — в частности, сетовала на закрытие школы и больницы. Теперь я понимаю, что закрыты они не без вашего участия.

Мое полуязвительное замечание он хладнокровно пропустил мимо ушей и продолжал выяснять нужное для себя.

— Значит, вы никогда раньше не знали эту кляузницу, приехали сюда не по её письму?

— Никогда не знал, а завернул сюда, можно сказать, по мистической подсказке.

— По мистической подсказке? — переспросил он недоверчиво. — В первый раз — «пересеклись пути», а теперь — некая «мистическая подсказка». Не вижу логики.

— Однако подозреваете, что изворачиваюсь, — усмехнувшись, пошутил я.

— Допустим. Но логики не вижу.

— Здесь дело не в логике, Мухаммед Арсанович, а в том, что связывает эти два приезда. Вы просто не видите, не можете видеть предмет этой связи.

— Ну, что ж, объясните его мне.

— А, между прочим, зачем вам это знать?

— Вы даже не представляете, как важно, — искренне признался Ордыбьев и даже остановился.

— Хорошо, разъясню. Кстати, никогда не делал из этого тайны. Наоборот, всегда готов был рассказывать.

— Тогда расскажите, пожалуйста.

— Пожалуйста, если вам это угодно.

— Не только угодно, а повторяю: очень важно.

— Так вот, пересеклись пути с Надеждой Дмитриевной Ловчевой случайно. Тогда я увидел её, выходящей из дома напротив кирпичной стены, совершенно для меня необъяснимой. Интеллигентного вида, одета скромно, на голове — траурный платок. И хотя была она в трауре, я все-таки подошёл. Не слишком ли подробно?

— Продолжайте, я весь внимание.

— Она направлялась на кладбище: был праздник Вознесения Господня. Из разговора с ней я узнал удивительную историю голицынского яблоневого сада и то, что при Советской власти его закрепили за школой.

Тут я сделал намеренную паузу, намекая: мол, белый замок концерна «ОРД» возведен на школьной территории. Но Ордыбьев молчал, нетерпеливо поглядывая на меня.

— Себя Надежда Дмитриевна представила завучем несуществующей школы. А вот о голицынской истории села Гольцы она знала мало и посетовала, что зимой того года умерла старейшая учительница Дарья Фёдоровна Чесенкова-Силкина, которая, как говорила Ловчева, частенько вспоминала княгинь, мать и дочь, особенно — княжну Софью, приютившую в Петербурге её тётку Матрёну Филипповну Чесенкову и даже обучавшую её за собственные деньги на высших женских медицинских курсах. Не знаю, стала ли та акушеркой или терапевтом, не догадался спросить.

— Нет, не стала, — холодно уточнил Ордыбьев. — Её с княгиней арестовали как заложниц и, судя по всему, расстреляли.

— Неужели по доносу Семёна Силкина?! — вырвалось у меня.

— Да, по его доносу. Между прочим, княгиня Софья Владимировна Голицына сама была врачом и довольно успешным! Дважды она возвращала к жизни того же Силкина.

Я остановился неверящий, — потрясённый!

— И он, — голос мой срывался, — и он... так возблагодарил?

— Чему вы удивляетесь? Тогда ненависть затопила Россию. Кстати, — по-прежнему холодным, бесстрастным тоном, без капли сочувствия говорил Ордыбьев, — Силкина, будущего коммунара, считали её назывным сыном.

— Назывным сыном? — недоумённо повторил я.

Ордыбьев ядовито произнёс:

— Нынешний Семён, наш ухватистый Пупырь, сделал другую формулировку: п р и ё м н ы й сын. Это очень важно, в частности, в делах наследования.

— Значит... ну, как бы выразиться? Документально доказано? В архивах есть документы?

— В архивах Петрочка обнаружен один донос и ни слова о вероятном расстреле. Всё остальное — устная легенда. Но по нынешним временам и этого достаточно, если имеешь деньги. Любой титул можно купить, — он презрительно посмеялся. — Ещё такую родословную сочинят, что невольно поверишь в голубую кровь. Семён, конечно, всё это делал на кураже, даже герб графский заказал. Хотите знать, сколько это стоит? Или вам хорошо известно? Вы ведь себя бароном представили, — съязвил он, и очень удачно.

— То была неумная шутка, — смутился я.

— Ну что ж, тогда вернёмся к Ловчевой. Кем она вам приходится?

— Господи, да никем! С той случайной встречи никогда её не видел, а обо мне она не сочла нужным что-либо узнать. Понимаю, была поглощена собственным горем. Правда, о Силкине, с которым училась в одном классе и даже дружила — ну, знаете, школьная дружба-любовь, — так вот, о нём она высказалась непримиримо: порченный человек! Как раз мне это и нужно было тогда выяснить.

Ордыбьев замер на полушаге и вопрошающе уставился на меня. Спросил тревожно:

— А почему он вас интересовал? Интересует? И тогда, и теперь?

— Вы опять не видите логики?

— Нет, не вижу.

— «Тогда» он был Семён Иванович Силкин, директор нефтебазы, а «теперь» — граф Чесенков-Силкин.

— Ну и что? — озадаченно пожал плечами Ордыбьев. — И всё же: отчего он вас «тогда» заинтересовал и «теперь» интересуется?

— Видите ли, в этом одна из причин и, пожалуй, единственная обоих моих наездов в Гольцы... Не догадываетесь?

— Как я могу догадываться? — нервно удивился он.

— Ладно, начну всё по порядку, и опять нужен пролог.

— Ну что ж, я готов слушать, — недовольно согласился он.

Мне пришлось рассказать Ордыбьеву об иконе. Правда, я опустил многие подробности. Да нет же, просто соврал: мол, приобрёл её в Москве на измайловской ярмарке антиквариата, поражённый подписью. Я ведь помнил просьбу-предупреждение поверженного антиквара Базлыкова не упоминать о нём и прежде всего о его причастности к моему приобретению. Но зря я беспокоился: Ордыбьева всё это никак не интересовало. Как и мои нелады с собственной совестью, после того, как узнал от Ловчевой, что икона краденная.

Ордыбьев прервал меня:

— А ведь я, как ни странно, мог бы догадаться! — Он пристукнул себя ладонью по лбу. — Ведь та кляузница действительно упоминала об иконе и о надписи на ней. По наивности ей казалось, будто Семён не смеет объявлять себя потомком князей Голицыных. — Он облегчённо посмеялся. — Так вы сказали, что то был знаменитый Сергей Михайлович Голицын?

Я понял, что о Голицыне Ордыбьев знает никак не меньше меня, а может быть, и больше.

— Да, знаменитый московский благотворитель, попечитель...

— Награжденный императором Николаем Первым, — заметил он, — высшим российским орденом Андрея Первозванного с алмазами. Правильно?

— Абсолютно верно. Вижу, вы хорошо осведомлены о князьях Голицыных.

— Что ж, если в моём подчинении их потомок, — иронично отвечал он, но продолжил без иронии. — А ведь наш Пупырь безошибочно учуял в вас врага. Не бойтесь, что вцепится, *аки*

зверь лютый? Впрочем, ему лучше об этом не знать. — Ордыбьев продолжал усмехаться, но уже снисходительно и, пожалуй, загадочно. — Икона ему теперь не к чему. Графский титул он без неё добыл. А сам ни в Бога, ни в чёрта не верит. Однако должен сказать вам, Семён недавно обрехался.

— Как это? С чего? — поразился я. — Что, отныне он мусульманин?

— В этом нет ничего удивительного, — вполне серьёзно пояснил Ордыбьев. — Ещё пророк Магомет предсказал, что все белые люди примут ислам.

— Выходит, Силкин вновь *впереди планеты всей?*

Ордыбьев рассмеялся — весело и искренне.

— Вот уж не знаю! По крайней мере, у него ныне в наличии две законные жены: старая и молодая. Правда, старую, с тремя взрослыми дочерьми, отправил в Рязань, купив им престижные квартиры. Две замужние — самостоятельны, а с младшей мать живёт. Наверное, ещё двух положенных жён заведёт, — язвительно добавил он.

Взгляд его темнел, сделался ледяным; ему явно не нравились выходки ближайшего подручного.

— Ещё и гарем платных девок устроит. Я ему частенько говорю: «Семён, тебе не в мусульмане надо подаваться, а в язычники. У вашего русского князя Владимира Крестителя в языческие годы было восемьсот наложниц!» Неуёмный, каналья, до баб и водки. Впрочем, — мрачно заключил, — что мы всё о Семёне да об этой сумасшедшей кляузнице? Давайте лучше о чём-нибудь... ну, о чём-нибудь возвышенном... Смотрите, как красив закат! Какая тишина, уединённость.

Но ни о закате, ни об уединённости мне говорить не хотелось, как и о Силкине. Тогда — о чём? О ком? О Базлыкове? Кстати, почему Ордыбьев никак не упоминает антиквара. Ведь наверняка догадывается, что я бывал в лавке древностей. Неслучайно же бросил, что Семёну «лучше не знать» об иконе.

И тут меня осенило. Тут я вспомнил о разговоре, случившемся весной этого года в один из моих наездов в Тульму в краеведческом зале районной библиотеки. Библиотекарь Лара Крыльцова, которой я покровительственно симпатизировал, если не сказать больше, вдруг отвела меня к дальнему окну — взбудо-

раженная, в глазах ужас, и всё повторяла, заикаясь: «Что же делать? Как быть? Как же её спасти?..»

Глава двенадцатая

НАДРУГАТЕЛЬСТВО

I

История эта печальная, а точнее — трагическая. Да нет же! — страшная, безысходная. А попала в неё лучшая подруга Лары, учительница литературы и русского языка, которую, понятно, Крыльцова напрочь отказалась называть, но по ходу изложения случившегося всё же пару раз обмолвилась: звали ту Ольга.

Начало этой истории по нынешним временам банальное: муж не сумел вернуть вовремя срочный кредит — они завершали строительство собственного дома. Естественно, на него *наехали*, увезли в прямом смысле неизвестно куда, а через день предложили жене погасить долг, иначе она никогда не увидит суженного. Собрав всё свое золотишко, назанимав сколько-то тысконок, Ольга отправилась выручать мужа. И это была её непростительная ошибка: нельзя было идти на подобную встречу в одиночку. Но остаточная советская психология, вера в лучшие качества людей, в то, что их можно разжалобить и переубедить, привели к печальным последствиям.

Вышибалы изначально вели себя по-джентельменски, любезно предложили сесть в шикарную машину и всё быстренько уладить, но, отъехав с центральной улицы, набросили ей на голову грязный мешок, зажали рот и тоже увезли в неизвестном направлении. Где-то за городом, в каменном подвале, с грубой, злобной руганью, заявили, что им и на фиг не нужно её золотишко, а тем более деревянные тыскёнки, но, если она сделает предоплату... собой, то остаток долга на месяц отложат, да и мужа освободят.

«Да, да! Собой! — в ужасе восклицала Крыльцова. — Только Ольга не согласилась. Тогда они принялись срывать с неё оде-

жду, а потом, потом, — едва шептала она, — надругались»... — «Как надругались?» — осторожно спросил я. — «Они её втроём изнасиловали — о, ужас! Ужас!»... — «Да-а, это ужасно... чудовищно!» — только и смог выдать я. — «А потом они её запугивали! Говорили, что, если кому расскажет, то прикончат мужа, а затем сына с дочкой, а уж напоследок и её саму. Вы можете себе такое представить?» — «С трудом, но могу», — мрачно ответил я.

Ещё через два дня муж вернулся — измученный, избитый — на нервном срыве, готовый на всё. Ольга призналась ему, что пыталась его спасти, но о себе — ни слова. Он слегка отошёл, со слезами благодарил её.

«Но Оля, Оля... она сходит с ума, — шептала, рыдая тихо в платочек, Лара. — Если она признается, то он, бывший афганец, их просто перестреляет, и всё закончится полным жизненным крахом. Поэтому она затаилась, молчит, а сама сходит с ума. Что же делать? Как быть? Как ей помочь?»

Я допытывался: «Скажите, Лара, кто эти подонки?» — «Нет, ни за что, хотя догадываюсь. Оля мне никогда этого не простит» — «Ну тогда единственный выход — обратиться к врачам...» — «Ой, нет, сразу все узнают!» — «Ну, может быть, куда-то уехать? Скажем, в санаторий, чтобы забыться, как-то развеяться?» — «Я ей советовала, но она ни в какую. Говорит: школа, дети, да и мужа боится оставить одного». — «Ну тогда тупиковая, патовая ситуация, безвыходная» — «Да, совершенно безвыходная! Что же делать? Как быть? Ка-ак?!»

Я абсолютно не знал, что посоветовать.

«Может, вам с ней поговорить? — стеснительно предложила Крыльцова. — Почему-то Оля вас упоминала». — «Меня?» — поразился я. — «Да, она читала ваши книги». — «Что ж, я готов. Только...» — «Только я ещё раз у неё спрошу» — закончила мою незавершённую фразу она.

Но Ольга отказалась со мной встретиться. Не знаю, по какой причине. Честно говоря, самого меня пугала эта встреча, её исповедь: ну, в самом деле, чем я мог её утешить, к чему призвать?... И вообще: мог ли я по-настоящему ей помочь, если она отвергает законные пути отмщения? Посочувствовать, обругав творимый в стране беспредел? Но это всё пусто; ничто! Надо

ведь разоблачать, наказывать, заточать в тюрьмы, строго держать в неволе гнусных преступников, особенно садистов, насильников...

Но! Если я уговорю её возбудить уголовное дело, думалось мне, то каковы будут последствия?.. Разрушение семьи, позор... И вероятное убийство, и вероятное самоубийство... Нет, в самом деле, патовая ситуация, безысходная... Вот и получается то, к чему она сама пришла: лучше сохранять в тайне, — пытаться забыть, вычеркнуть из памяти... И не сойти с ума... Но — удастся ли? Хватит ли душевных сил?..

Я, конечно, понимал, что Ольга хотела бы наказать мафиозных подонков без упоминания гнусного насилия над собой, трубя лишь о факте похищения мужа. Однако само похищение недоказуемо, свидетелей никаких, подозреваемых вышибал даже арестовывать не станут. Более того, они обвинят неплательщика в умышленном провокаторстве и, глядишь, самого его засунут в зону, а там всякое может случиться. Без сомнения, этот вариант её муж чётко просчитал... И если даже теперь несчастная Ольга, не выдержав, *просыпет* факт надругательства над собой, то те же гнусные насильники напроць его отвергнут, обвинив и её, и мужа в том же самом провокаторстве...

Н-да, негодяи всё предусмотрели.

II

Летом при встречах с Ларой мы бывало подолгу и уединённо беседовали: моё тайное знание являлось причиной её особого доверия ко мне. Правда, о трагедии подруги она высказывалась скупой: «ей лучше», «кажется, у них всё налаживается», «время, пожалуй, вылечит»... Сама она сильно переменилась. До этой печальной истории обычно жизнерадостная, кокетливо-непринуждённая, много смеющаяся, а тут постоянно в заторможенной задумчивости, ко всему относящаяся сдержанно, порой скептически, и выглядела она подчёркнуто строгой, как *классная дама*. Не знаю, как Счастлиову, но мне т а к а я Лара нравилась больше, а ловеласские поползновения поэта меня по настоящему раздражали. Хотелось сказать ему: «Слава, угомо-

нись! Возвращайся к своим поэтическим и юным журналисткам». Но сдерживался.

Как-то при очередном уединённом разговоре об эпатажном постмодернизме, о продажной политике и о многом другом непривлекательном в современной жизни я спросил Лару: а знает ли Вячеслав об этой печальной истории? «Ну что вы! — воскликнула она. — Он болтлив и ненадёжен. Уже два раза срывал занятия поэтического клуба. А ведь это его затея! И, вообще: он лёгонький и коварный», — отчего-то обидчиво, совсем не по доброму заключила Лара.

Я с ней не согласился, заметив, что Вячеслав тянет почти неподъёмный груз, издавая «Звонницу», и его упорство меня восхищает. Она сердито настаивала: «Он тщеславится во всём преуспеть. Абсолютно во всём! Только у него ничего не получится». — «Почему?» — «Характера не хватит. И ещё честности!»

В том же разговоре, между прочим, Лара посетовала на себя, признавшись, что грешна перед Ольгой, втайне завидуя той — её благополучному замужеству, её супружескому счастью. Даже не то, чтобы *завидуя*, поправилась она, а *мечтая* о том же...

Лара поясняла:

«Зависть — гадкое чувство и, в общем-то, совершенно мне не свойственное... Но, по правде говоря, я действительно часто мечтала — именно мечтала! — чтобы и у меня было так, как у неё... Мне очень нравилось, как внимателен, нежно заботлив её муж к ней, и как она преданно его любит... Мне тоже хотелось такой любви, семейного счастья... У них я всегда душой отдыхала... До того жуткого случая...

Было бы логичнее, если бы те подонки надругались надо мной. Да! Да! — воскликнула она. — Хотя я и ненавижу этих скотов, но закономернее... Я бы им не простила! Я бы, не задумываясь, пошла на эшафот бесконечного стыда... Но и они бы были прикованы к позорному столбу! Получили бы всё, что положено. Никакие бы деньги не помогли! Но Оля... Оля — она такая ранимая, такая незащищённая... И такая наивная, так любит своего мужа, так боится за своих детей... Нет, Ольга не способна идти на Голгофу... Да и крест стыда ей не под силу...

А я бы смогла! — восклицала Лара. — Смогла бы! Но сейчас тоска гложет, печаль сосёт — жить не хочется! Конечно,

лучшие гибнут — древняя истина. Но ведь и счастье человеческое, как его не оберегай, очень хрупкое! Вот Оля поторопилась спасти мужа, а чем это обернулось?! Трагедией, из которой выхода нет... Страшно вслух произнести... Тоска! Тоска! Лучше бы со мной!..»

Этот монолог Лары — её искренность, желание к самопожертвованию — поразили меня, и я понял, что высказывание о *лёгоньком, коварном* поэте выстрадано и, в общем-то, справедливо. «Бастион» Счастливову был неподвластен. Что ж, Лара пребывала в том серьёзном и решительном возрасте, в *бальзаковском*, который, кстати, мне больше всего мил.

III

Печальную историю с Лариной подругой, хотя она её называла Ольгой, я почему-то никак не связывал с Базлыковым. Не знаю, почему? Даже сегодняшним ранним утром, встретив его на бензозаправке концерна «ОРД», увидев его скупые, горькие слёзы, услышав, что его жена, а он назвал её Олей, сходит с ума; нет, я и мельком не подумал, не связал воедино Ларин отчаянный монолог и его угнетённое состояние. И только теперь, общаясь с Ордыбьевым, обратив внимание, как старательно он избегает упоминания имени Базлыкова, меня, будто молнией, озарило: да ведь трагедию пережил и до сих пор переживает именно Николай Рустемович и именно его жена — чистая, светлая, преданная ему Оля, безусловно, немало наслышанная обо мне, отчего и хотела встретиться... да, да, она — несчастная, осквернённая Оля — испытала это гнусное глумление, мерзкое, жестокое надругательство над всем тем святым, что дарит женщине смысл жизни и счастье любви. А неизвестными злодеями, как нетрудно догадаться, была всё та же пакостная тройца, — «сиятельный» мерзавец Чесенков-Силкин, отчего-то люто возненавидящий бывшего комбата Базлыкова, и его вечно пьяные холуи, тупые отморозки — Родька с Ромкой.

Мне нестерпимо захотелось напомнить Ордыбьеву об униженном, раздавленном им антикваре Базлыкове. Однако предосторожность останавливала: открытие этой тайны непременно вызовет в нём озлобление, возможно, даже и ярость, и тогда всё сра-

зу делается непредсказуемым. Убеждал-оправдывал себя: мол, пока не время, не наступили *сроки*... Ах, это трусливо-отступническое «пока», «сроки»! А когда они наступят?! И наступят ли вообще?! Но твёрдо знал, что самоубийственно разоблачать перед Ордыбьевым его приближённых подручных. Особенно вездесущего Силкина.

И тут вдруг понял со всей ясностью, насколько властная и могущественная фигура сам Ордыбьев. В его новом качестве, — нет, не *крёстного отца* криминальной группировки, обзываемого то Господином, то Хозяином, то Сувереном, а владельца, богатея — олигарха! Он ныне — новое явление российской действительности, утвердившиеся и узаконенное, — президент крупного *холдинга*, с кратким, но увесистым названием «ОРД». На своём суверенном полотнище, наверняка бледно-зелёного цвета ему следовало бы изобразить, как представлялось мне, чёрного паука на фоне золотой клетчатки — его личный символ! Ох, как круто, как прочно плетёт он свою властную паутину!

В его холдинге, по старинке именуемом концерном, сосредоточены самые различные сферы и формы быстрого *профита*, то есть дохода: спиртзавод и ликёро-водочный, автозаправка, транспорт и недвижимость, земля («охотничье хозяйство»!) и сеть непривычных магазинов с жёсткой кредитной системой, улавливающей обывателей, как липкая паутина: «Твой дом», «Твой гараж», «Твоё застолье» и ещё любезный его сердцу фирменный «Суверен» с его личной водкой того же названия, разместившийся в бывшей лавке древностей. Мне сдаётся, в этом притаённый, смысл: водка вместо культуры, вместо истории, как самый верный способ *расчеловечивания*...

Ордыбьев — всесильный олигарх. Не думайте, что олигархи действуют только в Москве, Петербурге, городах-миллионщиках, нет, — они уже утвердились повсюду! Пусть пока Ордыбьев олигарх районного масштаба, но его алчные и властные устремления значительно шире: ему уже сейчас узки границы Городецкого района и очень скоро — не сомневайтесь! — он захватит полностью некогда знаменитое в Приочье Касимовское царство*.

* К а с и м о в с к о е ц а р с т в о — возникло в 1446 году, когда великий князь Московии Василий II Тём-

IV

Наконец-то мне открылась трагедия Базлыкова и его жены. Я не думал уже об Ордыбьеве как об олигархе; меня волновало другое: знает ли он о том, что подло натворил его подручный «граф» с двумя своими «холопами»?

Судя по всему, не знает... Иначе не взял бы Базлыкова на службу, потому что рано или поздно, но это обязательно всплывёт, — в яви быта при ссоре, при пьяном хвастовстве: да, десятки вероятностей! А ему при нынешнем стремлении к респектабельности подобный скандал, причём, вне сомнения, кровавый, совершенно не к чему.

Однако не исчезало и подозрение: знает! На это намекали детали: чересчур трусливое поведение Силкина, когда появился чёрный «мерседес»; упрямое умолчание самого Ордыбьева об антикваре; дотошность, с которой он выпытывал всё о Ловчевой — «сумасшедшей кляузнице»...

Что-то тревожное наполняло душу, и теперь я жалел, что чересчур откровенно изложил Ордыбьеву свои взгляды на будущее России и особенно русского народа. И больше всего жаждал побыстрее освободиться из его цепкого, властного, *паучьего* гостеприимства.

ный пригрозил беглого казанского царевича Касима, дав ему на кормление Городец Мещерский, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году, и земли в срединном течении Оки. При Иване Грозном один из касимовских «царей» — хан Саиб-Булат, после крещения ставший Симеоном Бекбулатовичем, по воле самодержца был провозглашён «великим князем всея Руси» — номинальным правителем Русского государства (1575 г.) Пётр Первый отменил Касимовское царство после угасания ханского рода (1700 г.). — Авт.

Глава тринадцатая

ПРЕТЕНДЕНТ НА ЦАРСТВО

I

— Откуда вы едете? — спросил Ордыбьев. — Действительно из Москвы?

— Да нет, конечно. Из Старой Рязани.

— О, из Старой Рязани?! — оживился он. — Эти места мне хорошо знакомы. Да, да, — кивал он и неясные для меня воспоминания осветили его лицо. — Ополье, Заполье, Пустополье — какие древние названия, а? И какие точные! А имена деревень? Прямо из тьмы веков — Шатрище, Расбердеево, Ордыбьево.

— Не ваше ли родовое?

— Возможно, возможно... А само Городище?! Валы, сцементированные кровью. А поднебесная плоскость — княжий стол! Какой чудо-городок там размещался, а? Конечно, ныне пустырь, пустота... Одно разнотравье! Но какое богатейшее, какое неисчерпаемое — на той, когда-то залитой кровью земле, а? Ковыль аж в человеческий рост! А тымьян-трава? А разрыв-трава? А донник? Духмяное поднебесье! Где ещё такое? А окоём, окоём... Магнетический, дурмящий окоём! — восклицал он. — На целых три поприща*! Ока серебристая внизу извивается... И этот зеленый цвет лугов — сочный, густой. Как наше священное знамя! Представляете, несчётные конские табуны, а? Стада, отары... Нет, вы только подумайте, как восторженно доносили о той древней Рязани батыевы лазутчики! А он, властелин полусвета, умён был, мудр. Девять лет кочевал — готовился! Всё предусмотрел, даже то, чтобы зимой двинуться на Русь — по льду! Тогда — спасения никакого... Закон войны — закон победы!

— Вы прямо-таки поэму пропели... Нет, не Рязани, а Батыю.

— Да! Моему пра, пра — не менее семидесяти «пра»-дядюшке, — со счастливой улыбкой, с угольно горящими глазами восклицал Ордыбьев.

* П о п р и щ е — в Древней Руси равнялось дневному переходу (20–25 вёрст). — Авт.

— Выходит, вы чингисид**?

— Да! Конечно. Сам Чингисхан не успел покорить Русь. Но это сделал его внук Бату. А мой прародитель Орду был одним из его сподвижников.

— Вы потомок Орду? Значит, ханского происхождения? Как прикажите теперь вас величать?

И хотя всё услышанное казалось фантазмагорией, однако желание Ордыбьева быть ханским пра... правнуком представлялось вполне реальным. Ведь отыскивали в Монголии наипрямого потомка Чингисхана не то в 74-м, не то в 85-м колене, а президент бывшей социалистической республики издал указ о строительстве мемориала, посвященного Великому хану.

— Всё же, — продолжал я шутливо, — какие эпитеты нужно употреблять, обращаясь к вам?

— Ах, бросьте! Пока чингисиды не вернут себе власть, они остаются заурядными обывателями. Хранителями памяти — и не более того! — как бы обрезал, оборвал разговор Ордыбьев,

Я попытался перейти на монгольскую тему; он оказался в деталях обо всём осведомленным, но о перспективах, о будущем отказался рассуждать. Мы продолжали путь молча, думая каждый о своём, и направлялись от Утятного озера к Оке, к Возвратной излуине.

Пропетая Ордыбьевым величальная песня древней Рязани и восторженное восхищение легендарным батыевым походом наводили меня на грустные мысли. Странно всё-таки, думал я, вот мы одинаково относимся к красотам погибшей Рязани, но совершенно по-разному, в непримиримой противоположности воспринимаем батыево нашествие. Для него — это героика и торжество, а для меня — изначальный погром Руси. От которого и столетия спустя мы не оправились...

Два века не прекращалась, не ослабевала жестокость завоевателей: рабство и смерть; смерть и рабство... Угонялись в полон, в Золотую Орду, а при малейшем сопротивлении истреблялись все лучшие... Истреблялось и всё лучшее: древний закон и русский порядок, а точнее — русская правда! И когда всё же воспряли, то это была уже другая, новая Русь... И

** Ч и н г и с и д — потомок Чингисхана. — Авт.

не Русь вовсе, а Московия — по-татарски хитрая, деспотичная; по-азиатски терпеливая, безгласная... И если бы Золотая Орда сама по себе не развалилась, то вряд ли бы и мы воспряли из пепла...

Грустные, очень грустные мысли тревожили мою душу. Ордыбьев возобновил разговор так:

— Скажите мне всё же: отчего вас потянуло в Старую Рязань? Вроде бы никаких юбилейных дат: 900-летие Новой Рязани, то есть Переяславля Рязанского, отметили, а ничего другого не припомню.

— Ну почему же? — возразил я. — А 760-летие батыева погрома Руси? Рязань — первая жертва: даже стонать было некому! Почему же не помянуть, не поразмышлять?

— Вы это серьезно? — недоумевающе спросил он. — Простите, но это нам, татарам, наследникам великой победы, следует отмечать — хоть ежегодно! — ту славу, то величие. Вы же были стерты с лица земли. До сих пор на месте Рязани — пустырь, жалкие каменья. Да ведь это какой-то мазохизм!

— Почему же? Память об апокалипсисе... Да, именно так воспринимали русичи батыево нашествие! Так скажите, с каких это пор поминовение, покаяние считаются нравственным уродством? То есть мазохизмом?

— Н-ну ладно... Мы просто с разных точек зрения смотрим на события, — примирительно произнёс Ордыбьев. — Между прочим, вы об этом будете писать? Для журнала? Для газеты?

— Для исторического ежемесячника «Звонница».

— Кажется, попался. Что ж, любопытно. И всё-таки не могу понять!

— Что же здесь непонятного?

— Да о чем вы хотите прозвонить? Это же погребальный звон! Для вас, русских... В чем аналогия? В том, что ныне вы в полном подчинении у Запада? Вновь — крах, катастрофа. Как при Батые? Нет, не понимаю! Ну повторите в сотысячный раз о храбрости княжеской дружины, о Евпатии Коловрате, о татаро-монгольской кровожадности. Но, между прочим, по понятиям того времени террор победителей был системой, принципом. Мир давали только сдавшимися. Этому принципу следовали и римляне, тоже желавшие повелевать Вселенной. А разве нынче не так? Только

террор тех же американских победителей малозаметен. Но это для примитивных обывателей. Но вы-то посмотрите: армия развалена, промышленность разрушена. Ежегодно вымирает до полутора миллиона русских — жуткая демография! А держава, а Советский Союз? Ведь рухнул без всякого батыева нашествия! Или там гитлеровского! А отчего? Вы-то знаете? Я вам скажу — пусть и неприятно будет услышать: выродился русский народ! Да, за семьдесят лет интернационалисты-большевики выжгли сердца у русских. И, как вы не пытаетесь их возжечь, они не возгораются. Потому что нет больше пламенных русских сердец! Не способны больше русские держать шестую, а теперь уже седьмую, часть суши. Разве вы это оспорите?

Я молчал. Отвечать не хотелось. Решил: пусть отпыхают, прогорят головешки ордыбьевского костра — проще станет возражать.

— Вам нечего сказать? — возбужденно вопрошал он. — Надеюсь, вы согласитесь, что в нынешней России не только русские обеспокоены будущим? Не только они стремятся постичь то, что со страной происходит, а главное — вызов новой эпохи. Но русская нация в упадке. Между прочим, никогда величие нации не определялось количеством народонаселения, а всегда — силой духа! Так вот, ныне другие нации, другие народы, особенно мусульманские, готовы бросить клич — и тогда уж на просторах России начнет писаться совершенно иная история. Утверждаю: вера в Магомета сильнее веры в Христа!

Я молчал. Головешки ордыбьевского костра ещё не прогорели. Он метнул на меня настороженный, недобрый взгляд: нет, никак не мог усмирить себя.

— Причём здесь батыево нашествие? — возмущался он. — Гибель Рязани? Надо о будущем думать, а не о прошлом. Мы, мусульмане, не хотим жить под диктатом Америки. Или, по-другому, под игом объединенного Запада, этого «золотого миллиарда» человечества. Если Москва сдалась, а с нею и русские, то это не значит, что сдалась многонациональная Россия. Особенно та, которая зелёным поясом тянется вдоль Волги и далее — на юг и восток: до Индийского и Тихого океанов! Та Россия, которая уже не считает себя ни русской, ни православной.

Наверное, вам удивительно такое слышать? — полыхал он. — Однако не сомневаюсь, что вы знакомы с евразийством. Так знайте: теперь это наша теория. Почему? А потому, что первоосновой Российской империи была не Киевская Русь и, тем более, не Владимиро-Суздальская — их мы разгромили, унизили, раздавили, а ко всему прочему, ещё и переродили. Так вот, первоосновой была Великая Татария. Именно так именовалась в Европе величайшая во все времена империя Чингисхана. Вы, естественно, после того, что я слышал от вас, с этим не согласитесь?

— Я хотел бы до конца вас выслушать, — хмуро заметил я.

— Что ж, в заключение скажу: мы, мусульмане, созрели для новых побед. Войны следующего тысячелетия, начала его, будут межрелигиозные, межконтинентальные. О локальных конфликтах я не упоминаю. Участь России в планетарном смысле прискорбна. Вы знаете недавнее предсказание оптинского старца? Россия сожмётся до Московии эпохи Василия Тёмного. Вы сами определили — до скромной Республики Русь. Надеюсь, вы не воспринимаете такую футурологию как безумие?

— Ваши предсказания? Нет, я знаком с различными русофобскими теориями.

— И смиренно их принимаете?

— Совсем нет. Конечно, процесс планетарного переосмысления идёт во всём. И не случайно, что сейчас сохранилась одна сверхдержава. Думаю, она в недалеком будущем взорвётся изнутри. Сама по себе. Как это когда-то случилось с Золотой Ордой. Вполне вероятно, что в предрекаемом столкновении она будет побеждена Китаем.

— Вот, вот! — воскликнул Ордыбьев. — А Китай расползётся по всей Сибири до Ледовитого океана и тогда станет уязвимым.

— Но как бы вы, мусульмане, не были агрессивны, мир не окажется затянутым вашим зелёным поясом. Кроме того, Магомет не выше Христа! Утверждать подобное — абсурд! И дайте срок русским по-настоящему вернуться в православие.

— Вы всё-таки верите, что ещё воспрянете?

— Да, верю.

Мы подошли к Возвратной излуине и остановились, недовольные друг другом, возникшим непримиримым спором: никто ни в чём не желал уступать.

— И всё-таки, — заметил Ордыбьев жёстко, но удовлетворённо, — идейным противникам полезно вести подобные беседы. Против бесспорного силлогизма я не возражал.

II

Возвратная излуина — так зовётся песчаная коса с огромными валунами, — отгораживает от окской стремнины тихую заводь. Во времена оные, в голицынские, англичанин Джон Возгрин превратил мелкую заводь в миниатюрный порт. Теперь высокий причал из тёсаных камней замшел, оброс волосяной тиной, а углубленное метра на три дно, тоже каменное, хранит прозрачную, спокойную воду. Ока несётся мимо, слегка завихряясь в конце излуины, где возвышается гора из мелких валунов — мышино-тёмных от вечных, ветреных брызг.

Легко было представить у швартовых чугунных столбов белокрылый парусник сиятельного князя и неказистый охранный бот с пушечкой на носу. Но в 90-е годы миниатюрный голицынский порт опустел. Летом, правда, здесь ещё бывали ватаги мальчишек, ныряя «головкой вниз» с причала, да ухватистые рыбаки на утренних и вечерних зорьках. Теперь же между поржавелыми швартовыми столбами вытянулась свежеструганная скамья, и Ордыбьев, едва заметным кивком головы, приказал Челубею, о существовании которого я и позабыл, присесть и ждать. Меня же увлёл на песчаную косу по замысловато петляющей тропе, выложенной чугунными плитами — тоже старинными, поржавелыми, к двум розовым гранитам с выдолбленными углублениями, в которые были вставлены теплые сидения.

Мы оказались как бы внизу, на уровне червонной ряби, и было крайне непривычно взглядывать на круто поднимающееся к ало-пепельным облакам Княжеское взгорье и на сухую, пустынную плоскость противоположного берега, ограниченную в дали ребристой чернотой леса, из-за которого сиятельно, мощно вырывалось нежно-золотистое свечение. Здесь ощущался леденящий холодок стремительного окского потока и невольно в мыс-

лях возникали сравнения с быстро пролётным Временем, а необъятный купол небес причащал к Вечности.

— Присядем, — предложил Ордыбьев. — Каменные кресла, надеюсь, не ознобят нас. Через двадцать минут, — добавил в печальной задумчивости, — наступит мрак. Да, непроницаемый мрак. Правда, при яркой луне здесь призрачно. Поверьте, иногда кажется, что звезды опускаются на воду, и будто бы не отсветом, а самой сущностью. Предполагаю, — продолжал он в той же печальной тональности, но я почувствовал — обидчиво, — как вы меня воспринимаете. Мол, мафиози, разбогатевший на ограблении народа. А ведь это тот же отсвет, но не сущность. Поверьте, мной движут совершенно иные мотивы. Вот вы, наверняка, думаете: мол, графа ему, как Семёну, мало, в ханы рвётся. А я не рвусь, я им родился, и знал об этом с детства. Тогда ещё, когда за это могли не то что наказать, а ликвидировать.

— И кто же вам об этом поведал? Отец? Мать?

— Нет, дед. Отец у меня был очень советским. Мужественный человек, военный лётчик, истребитель... Вы знаете такую песенку, грустную, конечно?

Он тихо запел:

То взлёт, то посадка,
То снег, то дожди,
Сырая палатка
И писем не жди.
Идет молчаливо
В распадок рассвет.
Уходишь: «Счастливо!»
Приходишь: «Привет!»

— Отца я не помню, — говорил Ордыбьев так же тихо, как и пел, но в безветренной тишине заката можно было и шептать — всё равно далеко слышалось. — Впрочем, не помню и мать. Она вскоре вышла замуж за другого лётчика. Ко мне, то есть моему деду по отцу, у которого я жил, не приехала. Она тоже прожила недолго, утонула в Дону, у Азова. Попала, купаясь, в сомовую яму, а плавать не умела. Только годы спустя, когда я подросток, мне сказал об этом дед.

Я жил с дедом и бабкой в Нижнем Новгороде, в бывшем городе Горьком. Чем занимался мой дед, было непонятно, но жили мы в полном достатке. Раз в неделю, часа на два, дед посещал ту или иную баню, где ему устраивали богатое чаепитие. Не то ревизовал, не то дань собирал, — усмехнулся он. — Иногда брал и меня с собой. Я замечал, как перед дедом лебезят, кланяются, целуют руки. Меня это возмущало. Дед добродушно, но хитро посмеивался и хранил тайну...

Именно там, на песчаной окской косе, сидя в удобном ложе розового валуна, Ордыбьев повёл свой исповедальный монолог, который, честно скажу, вызвал у меня шок, — шокирует и до сих пор! Более того, пугает. Исповедь — не спор, не острые разногласия по политическим или историософским проблемам, а истинная правда.

— В тринадцать лет, — рассказывал Ордыбьев, — дед повёз меня в село Ордыбьево. Нас там поджидала большая толпа во главе с муллой. Когда мы вышли из машины, все упали на колени, благодаря Аллаха и кланяясь до земли. И на коленях поползли к нам, чтобы ухватить для поцелуя руку или припасть щекой к ногам. Я был в ужасе, но именно там и тогда я узнал, что являюсь потомком ханского рода.

Все в тот день молили Аллаха, чтобы он помог восстановить мечеть в Ордыбьеве. Дед указал на меня и сказал: «Это делает он, ваш будущий повелитель».

После той летней поездки в Ордыбьево каждый день до конца школьных каникул дед напевно излагал мне предания нашего рода, а потом повел в таинственный дом, где мне показали большую рукописную книгу в потертом кожаном переплёте с серебряными застёжками, написанную по-арабски. Вскоре дряхлый мулла принялся обучать меня арабскому языку. С тех пор я живу двойной жизнью. То, что знаю я, мало кто знает. То, что могу я, могут единицы.

В школе и в институте я был среди первых, но, как меня учили, до срока не самым первым. Вся моя юность прошла среди стариков. Они преданно любили меня и открывали многие тайны. Они же определили мою жизненную стезю: пребывание во власти. Они же поставили сверхзадачу: возрождение ислама. Между прочим, мечеть в Ордыбьеве была восстановлена ещё в мои рай-

комовские годы. Они же объявили, что главная цель для меня будет открыта позже, когда наступят иные сроки. Они наступили после крушения СССР.

Он помолчал; и я, замороженный его признаниями, не проронил ни слова.

— Вы спрашивали меня: знал ли я о грядущей катастрофе? — Ордыбьев снисходительно усмехнулся. — Как вы теперь думаете?

— Думаю, что предполагали, а потому подталкивали события.

— Пусть будет так. Но почему вы не захотели сказать: готовили их?

— Это слишком ответственное утверждение, которое требует доказательств. Кроме того, я сомневаюсь в этом.

— Правильно. Готовили их другие: иудеи! Иначе, откуда взялась эта хорошо спаянная команда «демократов»? Безусловно, молодую элиту заранее воспитывали...

— Как и вас?

— Вероятно... Вероятно, как и меня, — подтвердил он. — Хотя у нас и совпадали цели, но они пришли разрушать, чтобы бешено нажиться, как в семнадцатом, а мы будем завоевывать и строить. Воссоздавать наше исконное.

— И что же ваше исконное? — спросил я чуть иронично, подчеркнув слово «исконное».

— Моя главная цель — воссоздать на развалинах России Касимовское царство. Если хотите — ханство. Но лучше утвердить халифат*. Я убежден, что власть в будущем — это симбиоз вождя и муллы, — твердо, серьезно и горделиво произнес Ордыбьев. — Вас это шокирует?

— Да, безусловно... Впрочем, я уже читал в газетах призывы к созданию Казанского халифата. — Мне сделалось нервически смешно, и я ничего не мог с собой поделать. — Так почему

* Х а л и ф а т — государство, во главе которого стоит наместник Магомета, совмещающий светскую и духовную власть. Такие государства были распространены на арабском Востоке до XIII века. — Авт.

же, — и нервический смешок прорвался между слов, — не воссоздать сразу Золотую Орду?

— А вы зря смеетесь, — остудно заметил Ордыбьев. — Наверное, не с тем названием, но по сути — почему бы и нет? Кстати, такая сверхзадача уже бродит в умах, и я не вижу в этом невозможного. Аллаху это угодно!

— Да бросьте вы! — воскликнул я, теряя самообладание. — Кто может в такое поверить? Это — галлюцинации! Извините, но похоже на болезнь рассудка. Или сильное переутомление. Такое просто невысказано!

— Однако скажите мне, — жестко и холодно отвечал Ордыбьев, — кто верил ещё в ноябре — да, да, в ноябре — девяносто первого года, что в декабре Советского Союза не станет? Кто, скажите?! Кто был такой разумный? Вы были?

— Нет... Пожалуй, нет.

— Кто верит сейчас в расчленение России? В её развал на три части или на восемь, десять, двадцать государств? Кричат, возмущаются, но — не верят! А события надо опережать, хотя бы на шаг, как вы сами справедливо заметили. Неизбежные события. Так почему же невозможно, неестественно воссоздание исторической территории татарского проживания? Так почему мне не быть предтечей? В конце концов, общее дело довершит сын. Но я сам хочу быть торжествующим победителем! Во мне как бы проросла великая идея; я ей служу и верю в её осуществление. И каждый день повторяю: Аллаху это угодно!

III

Мне казалось, что меня полонит сумасшествие; вот-вот охватит юродливое чудачество — начну биться в иступлённом смехе, может быть, в плаксивых конвульсиях, или возопию в истеричных рыданиях: мол, не могу! не надо! не хочу!.. Да, не хочу подобное слышать, воспринимать, обсуждать, оспаривать, потому что бред! бред! бред!.. Какое-то всамделишное сумасшествие...

Однако: какой год идёт война в Чечне, с независимой Ичкерией?.. А если вспомнить пресловутых советологов, которые

предрекают не только расчленение России, но и нескончаемые внутренние войны на её распадающейся территории...

В наступивших сумерках мне просто сделалось страшно. Я оглянулся — и конвульсивно вздрогнул, отпрянул, чуть не упал. На причале стояли две машины: мой белый «жигулёнок» и ордыбьевский «мерседес». Около него в полусвете вытянулись две фигуры, расставив ноги. Я непослушной рукой достал из кармана ключи от зажигания, показал Ордыбьеву. На его мертвенном в сумерках лице изобразилась презрительная усмешка. Он проговорил устало, ледяным тоном внушения:

— Теперь вы знаете, что мы всё можем. Теперь вы слишком много знаете, чтобы не выбрать одно из двух. Третьего не дано. Если вы окажетесь с нами, то будете достойно вознаграждены. Нам нужны умные перья. Наше дело нуждается в летописцах.

— Простите, но я не татарин, — и опять, помимо воли, прыснул нервическим смешком; и самому же сделалось противно. — Поймите: не та-та-рин.

— А разве орда была единоплеменной? — свысока и повелительно возразил он. — Разве монгольской? Нет. Но! Единый закон, единая вера, единые обычаи и — единовластие! Четыре прописные истины. А кроме того, повелитель — вне критики и вне условий, предназначенных другим. Но! — Он сделал паузу. — Повелитель нуждается в разумном окружении, и ему безразличны происхождение, убеждения и даже верования тех, кто преданно ему служит. Напомню ещё одну истину: в каждом русском есть хоть капля татарской крови.

— Н-да, этого, пожалуй, не оспоришь.

— И в заключение: если не согласны, то обо всём забудьте — и навсегда! Третьего, действительно, не дано. Потому что нежелательному свидетелю лучше не жить.

Эта угроза оказалась для меня восстановительным ударом, и я наконец-то справился со своим нервическим смешком. Сухо возразил:

— Вы очень строги ко мне. Разве я напрашивался в свидетели? Тем более, в нежелательные?

— Вы правы, — тут же смягчился он, и тон его уже не был ни высокомерным, ни повелительным. — Однако так получилось, и отныне ничего от меня не зависит. Я сам — раб обстоятельств.

— Точнее сказать: заблуждений.

— Может быть, и заблуждений. Хотя я по-другому формулирую: Великих Целей. Да, с прописных букв! И я рад быть рабом Великих Целей. Они возвышают меня. Да, они как недостижимые вершины гор, устремлённые в само Небо. А я подобен муравью-скалолазу. Но я знаю, что делаю великое дело и служу Вечному. И вас призываю к тому же. Но вы, даже подумав, вряд ли согласитесь.

— Почему, всё же, вы так уверены?

— Потому, что я выяснил ваши взгляды. Для меня они — противоположны, если не сказать больше: враждебны. Но вы их не перемените.

— Благодарю за откровенность. А не желаете ли услышать мою?

— Безусловно, желаю. И буду искренне благодарен. Убеждён, что знать — хоть наполовину, хоть на четверть — мнение противника, пусть горькое, и обидное, в тысячу раз полезнее, в миллион раз важнее, чем слушать сладкий хор похвал от мнимых друзей.

— Вы меня определили в противники, не пожелав назвать врагом. Хотя мои взгляды для вас и враждебны...

— Не придавайте значения. Но по большой правде, по истине — так и есть!

— Вы фанатик, Ордыбьев. Ваш фанатизм, ваши Великие Цели приведут ко многим несчастьям. Вы воскрешаете тёмное прошлое. Только наивные люди — к сожалению, их подавляющее большинство — могут принять ваши фанатичные фантазии. Но, нет, это — не фантазии. Это — очень серьёзно.

— Почему вы так думаете? Кстати, политик обязан быть фанатиком, чтобы за ним пошли тысячи... сотни тысяч!

— Вот уж чего не ожидал встретить в умирающих Гольцах! — воскликнул я. — Политики! Идеюности! Думал, наслаждаются бешеными деньгами, впрочем, граф...

— Не надо о нём, прошу вас, — мрачно потребовал Ордыбьев. — Я думаю, Пупыря придётся убрать. То есть заменить, — поправился он, — знакомым вам антикваром.

— Майором Базлыковым? — притворно удивился я. — Разве он у вас служит?

— Да, в моем концерне, заведует бензозаправкой, и кличка у него прежняя — Антиквар. Этот достаточно умён, и уже, как вы поняли, сделал правильный выбор. — Ордыбьев повернулся ко мне, и я почувствовал его испытующий взгляд: чёрные глаза кольнули, как остриё булатного кинжала. — Вы знаете его историю?

— Какую историю? Как он расстался с лавкой древностей? — притворился я.

— Нет, последнюю, как попал в долговую яму?

— Нет, не знаю, — соврал я.

— Ну и знать не надо. Главное он сделал правильный выбор, — твёрдо повторил Ордыбьев.

Это значит, понял я, в «долговой яме», а натурально — в подвальном каменном мешке, холодном и тёмном, Базлыклов сломался, то есть сделался, в чём, собственно говоря, он и сам признался, рабом. Но меня не предал, нет, судя по всему, обо мне не обмолвился... А вот себя предал... И чудовищно пострадала его преданная жена Оля... Знает ли Ордыбьев о ней, о её трагедии?

Я не желал дальнейшего разговора. Уже упала ночь — осеннему чёрная, хотя и проглядная. На юго-востоке срезом спелой дыни утвердилась луна — нежно-оранжевая, светящаяся изнутри. Ярко сияла одинокая ближняя звезда, а под небесным куполом серебристо-зернистой россыпью встали созвездия. Была, всеобъемлющая тишина, и лишь редкими порывами набегал ветерок. Ни уходить, ни спорить не хотелось; и ощущалось слияние с природой и как бы даже телесное, мистическое растворение в ночи. Но Ордыбьев оставался упрямо настойчив:

— И всё-таки, завершим разговор. Почему вы считаете, что я воскрешаю прошлое, к тому же тёмное, а не взываю к будущему?

— Ах, Мухаммед Арсанович, — вздохнул я, — слишком серьёзная тема. Отвечу образно, может быть, чересчур отталкивающим примером. Вы, конечно, знаете, что холерные кладбища всюду существуют отдельно. Потому что, если разрывать могилы для новых захоронений, то, значит, выпускать наружу холерную бациллу. Впрочем, слишком мрачный образ.

— Отчего же, продолжайте. По крайней мере, убедительный.

— Это, во-первых, о тёмном прошлом. А во-вторых, о светлом будущем на основе ислама. Россия по сути своей страна христианская, православная. Её можно покорить, как Батый в тринадцатом веке, но вывернуть из неё православную душу невозможно.

— Она давно уже не православная, — зло бросил Ордыбьев.

— Но и не мусульманская, — резко ответил я.

— Пожалуй, на сегодня хватит, — мрачно сказал он.

— Пожалуй, да, — глухо откликнулся я.

IV

Ордыбьев поднял руку, казалось бы, невидимую в темноте, и тут же к нам с ярким фонарем устремился Челубей. Мы поднялись, поджидая человека-гору. Потом громадный охранник двинулся сбоку, по песку и сухостю, освещая Хозяину-Господину-Суверену твердые плиты чугуновой тропы. Я следовал за ним. На причале он мизинцем поманил косматого Шамиля, белые зубы которого сверкали и в ночи.

— Что там? — спросил хмуро.

— Плоха, хазаын, — отвечал тот, поцокав осуждающе языком. — Сэмен дэвки вызвал. Опят засэданью устроил. Свой кабэнэт. Дэвки вся голый. Вокруг стол. Ла мур. Вот так, — и он согнулся, показывая как: растопырил ноги и вытянул руки. — Родька и Ромка, совсэм пьян, тоже голый. Охрана сбэжал — тоже голый. Граф'ын на крэсла сыдыт, тоже голый. Дэвка на колэнка стал. Дуло дрэвный пыстол лыжит. Он заряжен.

— Хватит! — рыкнул сквозь зубы Ордыбьев. Отброшенным мизинцем указал; мол, на место! Шамиль, как напуганный волк, пружинисто отскочил в темноту.

— Слышали о графских художествах? Совсем распоясался, — возмущенно бросил Ордыбьев. — Свальный грех устроил. Содом и Гоморру. Не в первый раз уже! Совсем забыл, кто его вытащил на верх. Непамятлив русский человек! — И добавил сквозь зубы, не прощаяще: — Вообразил себя неуязвимым. Но ведь такого не бывает.

Он ждал, что я поддержу его возмущение, но я промолчал. В конце концов, говорить нам уже было не о чем, раз мы против-

ники. И тут вспомнилось, ради чего я сюда приехал. Теперь я получил тот редкий шанс, когда мог, хоть как-то отомстить Ордыбьеву за всё несправедное и жестокое, сотворённое под его властной рукой. Моральные уродства его главного подручного оказались за пределами даже нынешней вседозволенности. К тому же, фальшивое сиятельство чрезмерно распоясалось в своей безнаказанности. Задуманная мной изобличительная статья, безусловно, может нанести памятный, а, возможно, и непоправимый ущерб не только личному престижу олигарха, но и разрекламированному имиджу его многопрофильного концерна.

Однако не избежать и жертв, вновь тревожно подумалось мне. Прежде всего вскрытие всей правды непременно переломит жизнь бывшего антиквара, комбата Базлыкова и его бесконечно униженной жены. А уж то, что я и сам могу пострадать, в расчёт не бралось — не привыкать! Но всплыло и другое: неуступчивая, многолетняя борьба Надежды Дмитриевны Ловчевой оказалась проигранной, и, в общем, завершилась печально...

И всё же: как поступать?.. Да, как поступать?! Шанс ведь редкий, и его нельзя упустить! И тут я решил проверить Ордыбьева на испуг, или хотя бы вытянуть из него какое-то откровение, которое подскажет дальнейший поворот событий.

— А не кажется ли вам, Мухаммед Арсанович, — тая нахлынувшее волнение, достаточно равнодушно произнёс я, — что кто-то иной, уже не Ловчева, напишет разоблачительные письма о графских художествах, как вы изволили выразиться? Целый мешок разоблачений! — съязвил я. — И анонимных, и подписанных. Уж в них изобразят не только всю отвратительную правду о Силкине, но и массу чудовищных домыслов. Да ещё найдётся досужий журналюга, который так разукрасит факты, что, как ныне говорят, мало не покажется. Будто речь идёт не о вашем респектабельном концерне, — опять съязвил я, — а о воровской, бандитской малине. И ведь именно вам, Мухаммед Арсанович, придётся отмываться и от похотливых мерзостей фальшивого графа, и от предвзятых пакостей рукастого журналюги.

Ордыбьев, казалось бы, не услышал сказанного, — не удивился, не возмущился, словно это его не касалось. Нужно отдать ему должное — той выдержке, тому умению, с каким он мог уйти от ответа: паузой, молчанием. Конечно, он всё услышал, всё

понял и, без сомнения, сразу представил все пагубные последствия. Но виду не подавал, а продолжал, как ни в чём не бывало о своём, о том возмущении, которое в нём вскипело после сообщения косматого Шамиля.

— Вы знаете, а ведь Семён был незаменим на первом этапе, когда начался передел собственности. Его находчивость творила чудеса. А всё потому, что никто не знал, чего нельзя и что можно. Тут его напор давал блестящие результаты. Но ныне опомнились. А Семёну хоть бы что! Зазнался, охамел. В отношении даже меня, — обидчиво подчеркнул он: мол, благодетеля, суверена. — Совсем вышел из-под контроля. Неслыханное творит! Дела забросил и только одно — наслаждения. Да ведь как примитивно! Жрать-пить да совокупляться. Нет, добром это не кончится. Не должно кончиться Содомом и Гоморрой! — заключил возмущённо и добавил — отстранённо, неприветливо: — Спасибо за проведённый вечер. Прощайте!

Он протянул бледную ледяную руку. На моё слабое рукопожатие ни один палец его не шевельнулся. Халиф затаился в утолщённом гневе.

Глава четырнадцатая

РАСПРАВА

I

После Покрова, когда первый снег очистительной простыней накрыл омертвелую землю, ко мне в Тульму неожиданно примчался Вячеслав Счастливов. Оказывается, накануне он получил моё письмо, в котором я вскользь, но язвительно изобразил свои приключения в Гольцах. Но главное теперь заключалось в другом: я отказался писать о 760-летию батыева погрома Руси. Особенно его задела моя ирония по поводу того, а следует ли вообще в стотысячный раз воспевать самоубийственный героизм дружины князя Игоря Ингваревича и подобный подвиг отряда Евпатия Коловрата? Свой отказ я мотивировал тем, что не созрел

ещё для осмысления как давней, так и нынешней русской трагедии.

Однако взамен я предлагал ему перепечатать в «Звоннице» произведения той эпохи, того же XIII века, кстати, неповторимую по глубине печали, по высоте духа — «Повесть о гибели Рязани», сопроводив её высказываниями исторических деятелей, а также восприятием тех давних событий современниками. Сам соглашался написать эссе, где намеревался подчеркнуть следующее: надо знать, помнить, удерживать и строить Отечество — воочию ощущать врагов, с предельной заботливостью готовиться к защите.

Кроме того, я напомнил, что хан Батый, завоеватель, безусловно, величайший — жестоко-мудрый, целе-устремлённый, сумев объединить четырнадцать орд — несметное войско по тем временам, потратил почти пять лет на свирепое уничтожение непокорных русичей, чтобы в дальнейшем завоевать всю Европу — до скалистых берегов Атлантики, и только смерть великого хана Окая в столице империи на Амуре остановила его безудержный натиск на наших вечных недоброжелателей и соперников. Об этом тоже важно помнить — и нам, и им!

Вячеслав Счастливов, натура стремительная на поступки и решения, сначала напрочь отрицал и моё предложение, и моё видение батыева нашествия; высказал немало неприятных, несправедливых и даже оскорбительных слов, но когда наконец мне удалось заставить его задуматься, загорелся пламенем неудержимым, завосторгался. Ах, эти поэты!.. Тут же принялся изображать газетный разворот, намечать имена, картинно расписывать художественное оформление и даже уверять, что издаст эту «творческую находку» иллюстрированным буклетом — «как катехизис борьбы»!

Нет, нелегко общаться с поэтами. Однако их бурный восторг очищает душу от собственных мрачных раздумий, словно свежий ветер разгоняет хмарные тучи, открывая небесные колодези для живительного света, — для надежды и веры.

Довольные друг другом, мы сели, как говорить, *пить чай*, тем более, Слава Счастливов не преминул прихватить с собой фирменную сулейку «Руси Рязанской»! Разговор наш принял не-

обязательный и случайный характер и только в конце застолья (уже настоящего чая-пития) он неожиданно спросил:

— Слушай, ты ведь хорошо знал Силкина? Говорят, он был пройдошистый, грязный делега, да?

— Постой, почему «был»? — насторожился я.

— Ну как же! Ты разве не знаешь? Не то он застрелился, не то его застрелили. Пишут, правда, несчастный случай. Но я убеждён — умело подстроенное убийство. Что-нибудь местные мафиози не поделили, как думаешь?

— Послушай, Вячеслав, а можно по порядку? — разволновался я.

За обещанный мной Ордыбьеву «мешок разоблачений», естественно, я не брался. Это была метафора, с одной лишь целью — припугнуть его. Но он, похоже, перепугался не на шутку, а смертельно — да, для Силкина... Выходит, в смерти «графа» есть и доля моей вины?.. Однако у меня и в мыслях подобного не было. Кроме того, мне не вполне ведомы нравы новых господ — слишком уж скоры они на расправы даже среди своих верных подручных.

Должен сказать сразу, что по возвращении из Гольцов я был взят за избоблицительную статью, но она не то что не получалась, а вообще не двигалась, — потому что не мог я хоть *малешко* подставить несчастных Базлыковых: никогда бы себе этого не простил! Поэтому решил вернуться к своей неоконченной повести, чтобы само собой забылось всё случившееся в Новых Гольцах. Честно признаюсь, я не видел реальных путей разоблачения Ордыбьева, как и выхода из тупиковой ситуации с Базлыковыми. Это угнетало, и я чувствовал своё полное бессилие. А вот «претендент на царство», ханский потомок Орду-Ордыбьев поступил по-злодейски стремительно, по извечному принципу: *нет человека — нет проблем...*

Я прямо-таки уничижительно попросил Счастливого:

— Пожалуйста, Слава, расскажи всё в подробностях.

— Да, знаешь, тёмная история, а главное жутковатая. Говорят, Ордыбьев причастен. Ты наверняка в этом не сомневаешься?

— Ты даже не представляешь, друг мой, насколько не сомневаюсь, — чуть-чуть приоткрылся я. — Но, пожалуйста, по порядку.

Но Слава Счастливов не обратил никакого внимания на мою просьбу. Он вообще плохо умел слушать собеседников, особенно если увлекался собственными домыслами.

— Поверь, это убийство! — воскликнул он — Точно! Точно!

— Разве доказано?

— Нет, но я абсолютно уверен. Понимаешь, этот лукавый татарин так соболезнует, будто отца родного потерял. Это-то и выдаёт! Соображаешь? Я интуитивно чувствую. Убийство! Убийство!.. Не сомневайся!

— Постой, — перебил я, — где соболезнует?

— Ах да! Я же забыл, что ты газеты не получаешь. Живёшь здесь, как в берлоге, нет, хуже! — ему понравилось сравнение, и он засмеялся. — Так вот: во всех позавчерашних газетах некрологи. Вернее, информация о трагедии в Гольцах. Но я не верю в трагедию. Это точно убийство! Надеюсь, ты не станешь жалеть этого мафиози? Кстати, я, кажется, одну газетку прихватил, — вспомнил он. — Заметь, специально для тебя! Ты ведь его всё-таки знал, да?..

Он достал из плоской сумки, напоминающей военный планшет (у поэтов всё должно быть эпатажным, мол, живём, как на войне!), солидную и уравновешенную «Приокскую новь».

— На, дружище, читай! И соображай! На последней странице. Так и называется: «Трагедия в Гольцах». Ты представляешь, — не прерывал он своё словесное извержение, — этот Семён Иванович Силкин недавно превратился в графа! Чес.. кажется, граф Силкин-Чесняков. Надо же, Чесняков! А сам — прохвост! Говорят, ворюга из ворюг! Так вот, представляешь, в «Утре Рязани» заголовочек: «Погиб новоявленный граф»! Ваше сиятельство! Ха-ха... — смеялся он. — Нет, ты подумай, до чего мы дожили — сиятельства объявились! Скоро и царя-батюшку, его величество, возвернут!..

Я уже не слушал Вячеслава, читая сенсационное сообщение:

«Трагедия случилась во время утиной охоты недалеко от села Гольцы. Погиб от случайного выстрела бывший начальник Городецкой нефтебазы, а ныне заместитель генерального директора концерна «ОРД» С.И. Силкин. В последнее время он

предпочитал именовать себя графом Чесенковым-Силкиным, обнаружив в архивах Санкт-Петербурга документальные свидетельства того, что является потомком внебрачного сына князя С.М. Голицына.

Самопроизвольный выстрел случился, когда Чесенков-Силкин через дуло заряжал старинный пистолет. Пуля попала ему в межглазье. Он скончался, не приходя в сознание.

Генеральный директор концерна «ОРД» М.А. Ордыбьев глубоко переживает нелепую трагедию.

Несчастный случай на утиной охоте имел жуткое продолжение. Взбесившиеся доги, к которым питал слабость С.И. Силкин, оказавшись без присмотра, в сумерках напали на охранника штаб-квартиры «ОРД» в Гольцах Шамиля Джусаева и чуть было не разорвали его в клочья. Он в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, а егеря охотхозяйства Родион Малов и Роман Юсов отправились в окрестные леса, чтобы выследить и пристрелить взбесившихся псов. По последним сведениям, они это сделали».

— Ну, что скажешь? Убийство или несчастный случай? — наскокивал Счастливов.

— Обыкновенная расправа, — ответил я твёрдо. А самому вновь и вновь вспомнилось, как Ордыбьев оговорился: «Пупыря придётся убрать». Вот и убрали... Одного или всю троицу?...

— Ну, так как: убийство? — не отвязывался поэт.

— Думаю, что «да», — мрачно подтвердил я.

II

Стремительный Счастливов, как налетел неожиданно, так и умчался, заявив, что ему обязательно надо повстречаться с главой Городецкой администрации, конечно, побывать в районной библиотеке, а также завернуть в Гольцы. «Зачем?» — удивился я. «Ну знаешь ли, не за тем, чтобы выведать подробности, — обидчиво бросил он. И всё-таки, оправдываясь, слукавил: — Просто хочу увидеть те перемены, какие произошли на малой родине первого коммунара. Разве не веская причина?» Отговаривать я его не стал. В конце концов, у него свои намерения и собственное представление о возможных выгодах.

Через неделю получил многословное письмо, написанное летучей скорописью, в том же стремительном духе, в каком и пребывает в жизни Вячеслав Счастликов. Ладно бы скорописью, но ведь его взгляды стремительно поменялись.

Отчего бы? Да, отчего такая прыть? А оттого, оказывается, что господин Ордыбьев готов «постоянно спонсировать» Славину газету «Звонница». Даже рвётся в авторы, хотел бы разработать малознакомую тему и, по прикидке Счастликова, сенсационную — о том, как Иван Грозный, пребывая в великой злобе на собственный народ, назначил касимовского царя Саиб-Булата государём всея Руси.

Вообще, господин Ордыбьев, по новому убеждению Вячеслава Счастликова, настоящий меценат: «крупный и культурный предприниматель, искренний и щедрый». Он отвалил громадное вспомоществование семье Силкина, собирается послать младшую дочь того в Англию — на стажировку в Кембридж, причём вместе с матерью, чтобы они легче перенесли невосполнимую потерю.

Ордыбьев, оказывается, и «исключительно благородный человек». По Славиной подсказке он уже пригласил скульптора соорудить величественное надгробие в центре Гольцов двум Семёнам Силкиным, деду и внуку, двум символам обновлявшейся в XX веке России — революционеру-коммунару и демократу-реформатору.

«Потрясающая идея, не так ли?! И, заметь: моя!» — восхищался счастливый человек, поэт Вячеслав Счастликов. Господи, сколько же у иных тщеславия!..

Как выяснилось, в Гольцах он провёл «три полных дня» и принимали его там «по-царски». Славик хвастался, что его «донжуанский список» нежданно пополнился, и он не сомневается, что «будет расти». С раздражением сообщил, что с «Ларисой Григорьевной» покончено. Представляешь, у самой бальзаковский возраст, а изображает из себя недотрогу. Всюду носятся с ней, и ты в частности: Лара, Ларочка, а она просто вздорная бабёнка, вообразившая о себе невесть что». Он грозил: «Будет бегать за мной, как леди Каролина Лем за каретой Байрона! Помнишь, переодевшись в пажа, с факелом? Но я, как Байрон, останусь непреклонным!» И глумился в своей обиде: «Видел бы ты, как она по-

старела, как подурнела, а туда же — принцессу из себя корчит!» И опять хвастался отвергнутый, уязвлённый Славик: «Передо мной нынче — нескончаемый выбор! Сонм молоденьких принцесс! Одна другой краше! И никто из них мне не откажет!»

Небрежно упомянул, что мельком виделся с Базлыковым — «твоим букинистом из отставных майоров, который нынче верноподданнически служит Мухаммеду Арсановичу», — и тот ему не понравился: «мрачный и замкнутый тип». Правда, тут же оправдал Базлыкова: мол, у него большие неприятности — «жена сошла с ума, и её пришлось отправить в сумасшедший дом в Рязани».

На этой фразе я замер: заклинило душу. Я перечитывал её, пытаюсь уразуметь последствия. Но мысль застряла на одном: её там залечат... Неужели и ей уготована расправа?.. Судя по всему — да! Но Базлыков вряд ли её спасёт... Вряд ли когда-нибудь узнает правду... Господи, какое страшное время!

Наивный и обидчивый, как дитя, поэт Счастливов с ехидцей, а я ощущал с дурным, неуместным смешком далее писал: «Представляешь, у этой трагедии прямо-таки детективное продолжение, как в современных триллерах: охранники Силкина, тебе хорошо известные, — уродливый, со змеиной головкой Родька и придурковатый хряк, а, вообще-то, злобный вепрь Ромка, угнали шикарный «гранд-чероки» и скрылись в неизвестном направлении. Их ищут от Москвы до Самары, но, вероятнее всего, они подались на Кавказ. Ведь представляешь, может оказаться, что был-то, в самом деле, не несчастный случай, а преднамеренное убийство. Именно это подозревает Мухаммед Арсанович. Он, знаешь ли, искренне переживает, тем более, как выяснил, эти самые Родька с Ромкой беглые рецидивисты...»

А далее наивняк Счастливов в неподдельной обиде упрекал меня «в умышленном умолчании, а попросту — во лжи!».

Ведь, как поведал ему гостеприимный Мухаммед Арсанович, Семён Силкин, можно считать, являлся моим «давнишним другом». Оказывается, он подарил мне уникальную семейную реликвию, икону Христа Спасителя, а всего лишь две недели назад «по его дружескому приглашению» я участвовал в утиной охоте, и он лично подстрелил для меня красавца-селезня.

Тогда же, на той же охоте, мы повстречались с Мухаммедом Арсановичем и «задушевно беседовали», в частности, о моём паломничестве в Старую Рязань, и он, Ордыбьев, всё же надеется прочесть в «Звоннице» мой «юбилейный очерк».

В контексте произошедших событий напоминание о батыевом погроме Руси воспринималось кощунственно — как сладкая азиатская улыбка, перед тем, как протянуть чашу с ядом, или во время прощальных объятий нанести кинжальный удар в спину.

В своём неудержимо-многословном письме — и это особенно важно — Вячеслав Счастливов прямо-таки по-прокурорски допытывался: как я отношусь к татарам? Тут же категорически высказывался сам, видимо, призывая меня последовать его обновлённым убеждениям. Оказывается, теперь он полагает, что, подобно угро-финнам, то есть мордвё, муромё, мещерё, татары также корневой для России народ, как и мы сами, славяне...

Дожили! Выходит, теперь Батый н а ш хан, а три века и г а просто вживание друг в друга, — чтобы «стать и единокровными, и корневыми». Всё ещё по-советски Счастливов пытался *покумить* татар с русскими, — завоевателей с покорёнными, палачей с жертвами...

Ох, Господи, как легко переосмысливается история!

Что ж, стальной паутиной обвил Счастливова многоопытный паук — властолюбец Ордыбьев. Такую же стальную сеть плёл он и против меня. Но это-то понятно: я ведь для него не только идейный противник, но и нежелательный свидетель. Проще — враг! А с врагами во все времена ищут не братания, а смертельной схватки.

Тонко, ох, как тонко плёл хитроумную, многоходовую интригу лукавый, по-азиатски осторожный и беспощадный отпрыск ханского рода Орду-Ордыбьев. Почти безвыходную для незадачливого поэта, безбоязненно открытого всему на свете — и любви, и злодейству.

Меня это сильно растревожило. Я тут же отправил Вячеславу ответное послание, но не многословное, и главное — со знаковой фразой: «Кто живёт на подаяния нечестивых, тот их будущий раб!» Если поймёт, то прозреет, а если будет и дальше благодушеествовать, то сомнут, и в самом деле превратят в бесправного и бессловесного раба. Такое уже неоднократно бывало на Руси —

во все эпохи! Не избавились мы от подобных трагических заблуждений до сих пор...

К вечеру того дня, помнится, повалил снег, заметелило, и я, не испытывая судьбу, с утра пораньше укатил на своей «четвёрке» в Москву. Завершилось очередное моё отшельничество во глубине России.

III

Наши отношения с Вячеславом Счастливым заморозились надолго, и мне даже подумывалось навсегда. Нет, не дошла ни до его ума, ни до его сердца моя знаковая фраза: о нечестивых и о прозрении. О том, что надо, в конце концов, ясно понимать не только видимые цели, но и невидимые опасности, а, кроме того, вести себя достойно и непременно по-мужски.

Однако по весне, в светлое Новолетие, — в Древней Руси Новый год наступал в начале марта, — получаю от него скоропалительное послание, как всегда, захлёбывающееся в эмоциях и лишнесловии. Обиды, будто бы и не бывало, а вот настойчивое, навязчивое внушение о «меняющихся Гольцах», о «благодетеле» Ордыбьеве, о «духовном возрождении», — о строящейся мечети! — меня просто потрясло.

Я не находил себе места. Вот ведь как быстро можно изменить исторический облик села по чьей-то упрямой воле. А натура у Ордыбьева азиатская — узорчатая сталь: булат!

Незадачливый же поэт Счастливов, оказавшийся пешкой в его игре, легкомысленно радовался тому, что «Гольцы оживают», что в них переселилось «около сорока семейств, правда, в основном мусульманских». Однако, в принципе, «это естественно для бывшего Касимовского царства». Дачники же «с удовольствием распродают свои дома, потому что щедрый Мухаммед Арсанович предлагает суммы, перед которыми невозможно устоять».

Сообщал он также с какой-то непонятной дурашливостью, что «почти полностью выгорела замшелая улица ещё аж земской постройки», с небрежением добавляя: «сгорел и дом твоей знакомой, сумасшедшей учительницы, клязницы Ловчевой». Более того, Счастливов кощунствовал: мол, теперь «унылое порядье напротив величественного замка «ОРД» выглажено асфальтовы-

ми катками до такой гладкости, будто лакированная столешница. Там будет автостоянка», — торопился сообщить он.

Не забыл упомянуть и Родьку с Ромкой, «этих опасных рецидивистов», которые, как он и предполагал, — ах, это мелкое тщеславие! — «бежали на Кавказ, в Кабардино-Балкарию, где и обнаружен «гранд-чероки». Но сами, — возмущался, — «похоже, исчезли навсегда».

С сердитой тоской мне подумалось, что исчезли Родька с Ромкой совсем и не на Кавказе, а в окрестных лесах, где в каком-нибудь из глухих урочищ зарыты *на три метра*, как когда-то вместе со своим хозяином угрожали мне. В изошрённости действий Ордыбьева я не сомневался. Представил, что вместе с ними, в той же яме, покоятся и верные доги, чёрный и тигрово-палевый, не сумевшие всё-таки разорвать в клочья косматого Шамиля, несомненно, одного из убийц Силкина и его егерей-телохранителей.

Эх, Слава, Славик!.. С чего это ты так унижительно строишь под властную диктовку Ордыбьева? Зачем это тебе? Ради чего ты оказался опять его гостем? Ради очередного пополнения своего «донжуанского списка»?..

Потрясение моё было всепоглощающим. Дела разладились, рукопись сама собой отложилась. Я печально сознавал, что в одиночку не в силах изменить упрямый ход событий. Это может произойти только тогда, когда прозреет значительная часть народа. Но пока он, народ, не прозрел, пока он *безмолвствует*, ничего не переменится...

Сдача же отчих позиций легкокрылым поэтом Счастливым мне не казалась ни случайной, ни что-либо решающей. Честно скажу, не волновала и его дальнейшая, по-моему, жалкая судьба. В охватившей все сферы жизни *русской трагедии* это была такая маленькая частица, такая едва различимая капелька, что и не заметишь, а, тем более, ни его, да и никого другого не подвигнешь к покаянию, к противодействию. Мы, русские, тоскливо говорил себе, продолжаем проигрывать во всём: в большом и малом; поражения наши никак не кончаются...

И всё же, всё же...

Повсюду вокруг вроде бы накарканная катастрофа, однако коллапс* не наступал. Россия держалась: стояла на ногах, хотя и не совсем твёрдо, но на колени не опускалась, а, тем более, не пласталась по земле. Это было удивительно и для них — всяких мастей недоброжелателей, предателей, открытых врагов, и для самих нас. Да, в какой-то стержневой тверди мы не отступали, не сдавались. И в этом была вера: если выстоим, то тогда Господь нас простит и придёт на помощь.

Часами — в одиночестве, запутанными снежными тропами, часто по уямным колеям от лыж — бродил я по Тёплостанскому лесопарку, неотвязно думая об одном: что же с нами происходит? Что же впереди?.. Навязчивым рефреном звучали понятия, имеющие отношение к державности, к государству, из-за которых в нашем двадцатом веке, от начала его и до конца, были изломаны миллионы человеческих судеб и даже самостоянье целых народов, ради лишь того, чтобы переубедить, доказать, обвинить, а в конечном счёте властно подчинить: *единая и неделимая* — о России самодержавной, имперской; *интер-национальная, дружба-народная* — о Союзе Советских Социалистических Республик: тоталитарном, претендовавшим на всемирность...

Десятилетиями ломали сознание, разрушали русскую нацию, отменяли российские традиции, православную веру. Однако Божественные сущности оставались незыблемыми: язык, библейские заповеди, этно-психическое творение. Богоугодное неподвластно ни стальной воле вождей, ни железо-бетонным теориям, ни кровавому террору.

Единая... неделимая...

Интер... национальная...

Народно... дружественная...

Ночи напролёт — бурные, ветреные, с завываниями в оконных щелях; с пугающим постукиванием по стеклу обледеневших ветвей вытянувшегося до шестого этажа ясеня; в снежной мути, когда никого и ничего не видно за окном; в загадочной картине вызвездившего неба с низкой, идеально круглой луной то нежно-медового цвета, то дынно-сливочного, то густо-оранжевого, но обязательно близкой, нависающей над Тёплостанским лесопар-

* C o l l a p s e — крушение, падение (анг.) — Авт.

ком в каких-то тысяче шагов; в тишине и отстранённости от всего и вся, — да, начитывал я, пока ещё долгими мартовскими ночами, воспоминания и дневники о первых трёх русских революциях, охватывающих первые два десятилетия исчезающего незаметно двадцатого века, а о четвёртой, либерально-рыночной, как бы даже не настоящей — по затуманенности целей, по невовлечению масс, по неясности призывов и идеологии; без гимна, с позорным власовским флагом; грабительской, лживой, с сонмом предателей, однако по разрушениям, обнищанию, смертности не уступающей всем трём предыдущим, вместе взятым, к тому же ещё и не завершённой.

Но об этой, о четвёртой революции, начитывал я, конечно, не воспоминания и дневники, а текущую периодику, в основном кучу скопившихся газет, где наконец-то принялись осмысливать последствия необратимых перемен, ужасаясь тому, что натворили, и тому, что поддались подлым выскочкам, в большинстве наймитам Запада, ненавистникам России («этой страны!»), — и требовали реванша, справедливости, наказания верхов, олигархов, вороватых чинуш, бандитов и растлителей, потому что, *о к а з а т с я , т а к ж и т ь д а л ь ш е н е л ь з я .*

Но и то, и другое я начитывал под собственным углом зрения, так как моя боль в ином, в том, что русским людям в нынешнем квази-государстве, именуемом Российской Федерацией, действительно, так жить дальше нельзя! Во всех четырёх революциях самое странное, к удивлению, но и самое страшное, заключалось в том, что все они *а н т и р у с с к и е*. Все они вели к расчленению России, к истреблению русского народа, его державного духа. По политическим технологиям, между прочим, они поразительно похожи друг на друга. Шельмовались, унижались, отвергались, а при сопротивлении и просто уничтожались все культурные, мыслящие, принципиально-нравственные, не поддающиеся одурачиванию слои населения, чтобы открыть путь наверх — к управлению, к обогащению авантюристам, скарабеем, пройдохам, мерзавцам и inferнальным, дьявольским злодеям, в общем-то, публике случайной и ничтожной, но до беспредела упёртой...

Ну ладно, вернусь к своей непроходящей боли о — *единой, неделимой...*

*национал-народной...
интер-дружественной...*

Как ни крути, а главный ныне вопрос — национальный! Нет, не экономика, не политика, не армия, не интеграция в глобализм, мировое сообщество. Пока не восстановится державность, не воспрянет русский человек, который должен знать и помнить свою исконную родину и, кроме того, куда он может всегда вернуться, где он желателен, где его корни, могилы предков, может быть, очень далёких — тысячелетней давности! — и где, сосредоточившись, он наконец-то сможет доказать, что Русь во всех смыслах готова быть выше угасающей Европы и, тем более, техногенно-примитивной, зазнавшейся Америки.

А ведь как просто это сделать!

Но что мы видим? Поэт, который должен быть глашатаем, бежит от своего призвания — звонить в колокола: звонить! звонить! — и соблазняется сребрениками. Господи, дай ему и всем подобным прозреть! Преврати их из Савлов в Павлов! Да, в подвижников, в глашатаев, в конце концов, в мучеников, всегда готовых на **р а с п я т и е** за Веру, за Родину, за Правду!

Кончается столетие, уходит век двадцатый, который думающая, интеллигентная Россия начала с либерального космополитизма и, добившись власти, вскоре попала под жернова большевистского Интернационала, но к концу, всё-таки выжив, опять вернулась к либеральному космополитизму, масонству, безверию или лжеверию, а нужно, пора возвращаться к себе, к собственному **н а ц и о н а л ь н о м у** достоинству, — к сути Божественной!

Эх, Слава, Славик, поэт Счастливов!..

IV

В ту весну — затяжную, холодную, с ураганными ветрами и обвальными снегопадами — меня измучили мистические предчувствия. Эти предчувствия преследовали неотступно — глухой ночью, пасмурным утром, в метро, при встречах, за рабочим столом, сопровождаясь неотвязчивым, тысячекратно повторяемым кликушеством: «Гибнем... Гибнем... Возродимся ли?» От этого погребального повтора я испытывал полное душевное изнеможе-

ние, хоть головой об стенку, чтобы только выбить этот гнетущий мрак.

Спасло меня одно сновидение: я увидел вживе, реально вышедшего из иконы (да, той самой!) сострадательного Иисуса Христа — в длиннополом хитоне, с очами, воздетыми к Отцу Небесному, с хлебом в левой руке, прижатой к груди, — и вот Он, босой, невесомо идёт по закатной, червонной ряби Оки, — против течения, мимо покрытых тьмью Гольцов, к пылающей далеко впереди Рязани, а пламя не приближается, но и не гаснет, а почему-то удаляется и вот совсем исчезает. А я в отчаянии молю и молю: «Господи, поторопись!». А Он отвечает одно и то же, одно и то же: «Спешу успеть, успею».

В ту весну — под утро, перед рассветом, когда светлячком улетаешь в блаженно-бархатную чернь космоса, в невозвратные звёздные дали, — были и ещё спасительные сновидения: Он являлся там, в запредельных высях, и ласково глаголил: «Повремени, жди срока». А однажды, засияв лучезарно, вымолвил: «Верь! Россия спасётся, но только русским будущим». И, пробудившись, перед дарованной мне судьбой иконой я твердил: «Верю! Только русским будущим!»

И буду твердить до скончания века...

Глава пятнадцатая

СВЕТ И ВО ТЬМЕ СВЕТИТ

I

Прошло ещё три с половиной года...

Наступил век новый, третье тысячелетие от Рождества Христова...

В Тульме я больше не бываю: сгорел дом. Мой славный *деревенский скит*, где хорошо и радостно работалось...

Случилось это вскоре после описанных событий. В межсезонье впервые за двенадцать лет в дом трижды *наведывались гости*, а попросту ворюги, но вели себя непонятным образом:

крали выборочно, без глумливого надругательства, выполняя, несомненно, чей-то заказ. Нам давали понять, прежде всего мне, что лучше убираться из здешних мест. Но мы не вняли, и в волчий час ночи, когда ещё и первые петухи не пропели, дом поожгли...

Поверите ли — не знаю, но клянусь честью: накануне было я в л е н и е. В то августовское воскресение, в грозное затаённое предвечерье нас посетил ослепительной чистоты *белый голубь*. «Неужели ангел небесный?» — прошептала жена. В самом деле, его появление было настолько нереальным, что мы полностью растерялись. Ничего подобного в Тульме представить невозможно. Там, как и во всём Городецком районе, ныне нет ни одного голубятника.

Белый голубь вёл себя необъяснимо осмысленно и крайне обеспокоено: ходил по коньку крыши, пристально глядя на нас, опускался на машину, перелетал на соседский сарай с сеном, и такая осязаемая тревога исходила от него, что мы чувствовали себя угнетённо: потерянными!.. и даже, пожалуй, приговорёнными!

Мы никак не могли вразумиться: то ли *о н* прилетел *жизнь* нашу спасать, то ли *смерть* напророчить. А по-житейски проще: надо ли уезжать побыстрее, или, наоборот, оставаться. Но Татьяне Николаевне в понедельник было необходимо, как говорили в старину, попасть в присутствие по казённой надобности, а у меня в Москве неожиданно возникли неотложные заботы...

Мы долго и суетливо собирались, а *голубь* и не думал улетать: *о н* спокойно ждал и неотрывно следил за нами своими вишнёвыми бусинами. Его косячий взгляд — головка набок и как бы снизу — был настолько пронзительным... нет, не птичий и, пожалуй, не человеческий, а совершенно иной... В общем, мы недоумённо, без малейших сомнений чувствовали, что *о н* знает и ведает то, что никак не могли знать и ведать мы. Это пугало, представлялось фантастическим, нездешним...

... Наконец я распахнул наши огромные ворота с высоким навесом — в проёме открылась сизо-чёрная туча с кроваво-пламенеющей полосой на горизонте, и *о н*, чистейшей белизны *голубь*, взмахнув невесомо крылами, дивно спланировал на навес, не то останавливая наш отъезд, не то с нами прощаясь...

В сильном волнении, когда вдруг тебя конвульсивно передёргивает, мы боязливо сознавали всю невероятность происходящего, — да, всю *н е з д е ш н о с т ь* этого явления.

... Немного отъехав, я, будто по внушённой команде, покорно затормозил. Мы оглянулись: *голубь* по-прежнему возвышался на навесе и вглядывался в нас пристально. Нам показалось — с великой грустью... пожалуй, даже с печалью. Так и осталось в памяти: *б е л ы й г о л у б ь* и ещё *ж и в о й д о м*.

Мы, конечно, не сразу проникли в смысл того, о чём *голубь* нас предупреждал — о надвигающемся грозном смерче и об уже заказанном пожаре. Ведь и в том, и в другом случае мы могли... а, пожалуй, должны были погибнуть. Но первое вскоре нам пришлось испытать, потому что мы не вняли явной подсказке, а от второго необъяснимым — чудесным! — образом были избавлены.

... В общем, мы мчались, суетно торопясь в Москву, — сквозь мещерские затаившиеся леса, в полнейшем одиночестве, под давящим сизо-тучным небом, устремляясь на далёкий кровавый закат. Под Егорьевском обвалилась внезапно темень — мы попали в жуткую грозу, в крошечный потоп. Ураганные порывы ветра прямо-таки останавливали машину. Непрерывно грохотала непроглядная чернь, а в каких-то шагах от нас, как ломанные осколки солнца, вспыхивали молнии.

Взрывные вспышки громо-молний ярчайше освещали коридор шоссе, и мы с ужасом видели как слева и справа подкошено валятся громадные деревья, будто солдаты из оцепеневшего строя... Стихия бушевала зло и неутомимо, и вокруг происходило нечто мистически-жуткое, неподвластное человеку. Самую непередаваемую жуть мы испытали в тот краткий, оглушительный миг, когда по машине жёстко хлыстанули бледно-болотные ветви, упавшей почти на нас *горькой осины*...

Такого смертельного урагана мы никогда не переживали. И не страх, а именно жуть охватывала нас, пока мы вырывались из самой что ни на есть преисподней. Всюду мерещились гибнущие деревья, но само шоссе пугало не меньше: в извилистом коридоре-русле оно несло на нас, словно взбесившаяся река...

Мы не останавливались и упрямо ползли вперёд — именно ползли, — и, самое удивительное, твёрдо знали, что только так можем спастись. Да, мы помнили о *белом голубе*, и верили, что он нас ведёт...

А затем, какое-то время спустя, дотла выгорел наш послевоенный пятистенок, из брёвен без подсочки, — из естественной смоляной сосны! — от вспыхнувшего неведомо с чего сенного сарая... И вновь он, *белый голубь* неотступно спасал нас, прежде всего меня, удерживая в Москве, чтобы не попасть в иную преисподнюю — в дымно-огненный смерч...

Жена часто повторяет: «Я свято верю, что тот небесный посланец был Ангелом. — И убеждённо добавляет: — Да, ангелом жизни, но не смерти!»

Что ж, с ней нельзя не согласиться.

II

Я убеждён, что мистическое и реальное в нашей жизни — при особых обстоятельствах — неразделимы. Реальное развитие событий я ожидал, и оно, безусловно, тревожило, но возникновение мистического предвидеть невозможно. А это, должен заметить, и есть наша непредсказуемая судьба...

У меня не было и нет сомнений в том, кому было выгодно моё исчезновение из Тульмы и, вообще, из Городецкого района. Как и в том, кто повелительно и небрежно бросил: «А, сжечь его!» Однако отсутствие сомнений ничего не доказывало.

При редких встречах в Москве с моими добрыми городецкими знакомыми я не люблю возвращаться к непоправимому, больше интересуюсь делами и событиями там, в незабвенной Мещере, и, безусловно, Ордыбьевым, его паучьим концерном «ОРД».

Что ж, олигарх по-прежнему процветает. Действует напористо и целеустремлённо. Недавно приобрёл приборный завод, продукция которого продаётся на европейских рынках. Он увеличил своё акционерное участие в других перспективных городецких предприятиях. Его водка «Суверен» стала знаменитой, завоевав медали на выставках, и ныне экспортируется в Словакию, Германию, другие европейские страны. А, кроме того, Му-

хаммед Арсанович — ныне основной подрядчик в реставрационных работах по возвращению Городцу Мещерскому исторического облика. Понятно, что особо он заботится о воссоздании в красоте и блеске Дворцовой мечети пятнадцатого века и сохранившихся текие* Шах-Али-хана и Авган-Мухаммед-султана. В общем, что ни возьми в городе и районе, имя Ордыбьева всюду на слуху.

Иногда мне названивает мой неугомонный приятель Вячеслав Счастливов. Длиннющих писем он больше не пишет, потому что может болтать по телефону неограниченно: Слава теперь, благодаря Ордыбьеву, главный редактор «Городецкого вестника». Его «Звонница» преобразована в журнал, правда, отныне это рекламно-развлекательное издание. Он прислал мне несколько номеров. Я бы определил их как детективно-похотливые, однако с довеском стишков и несмешных юморесок, но пока ещё с историческим разворотом. Однако очень навязчивым: о Касимовском царстве, о Московии времён Василия Тёмного, об опричнине — жуткой эпохе Малюты Скуратова при полуобезумевшем Иване Грозном. В общем, обо всём том, что в русской истории было мрачным, болезненным, отвращающим.

Что же, спонсор всё тот же — Ордыбьев! К сожалению, глашатая подвигов и побед тысячелетней Руси из рязанского поэта Счастливова не получилось.

III

Долгие телефонные разговоры с заматеревшим, но всё ещё *легоньким* Вячеславом Счастливовым для меня, как и прежде, остаются интересными: Славик ведь до всего любопытен! От него я узнал о зигзагах судьбы Базлыкова. Бывший майор и бывший антиквар чуть было не спился. Причина, безусловно, более, чем веская: в Рязани, в доме умалишённых, покончила с собой его жена...

Его восторженная, романтическая Оля... для которой — помните? — Александр Сергеевич Пушкин — да! да! — всегда оста-

* т е к и е — в переводе с татарского «гробница», «мавзолей». — Авт.

вался «и жив, и свят». Эта светлая, незащищённая душа... ранимая, нравственно угнетённая Ольга... так и не простившая надругательства — ни себе, ни нам...

Вытащила Базлыкова из отчаянного положения Лара Крыльцова. Как ближайшая подруга, она естественно восполняет Ольгу... Вот ведь как необыкновенно переплетаются судьбы! Ведь только Лара — и только с Базлыковым — сможет сохранить светлую память о подруге... да, и свою жизнь устроить...

Мне иногда вспоминается то, что я думал о Ларе, когда ещё не ведал, чем завершится надвигающаяся разборка с Ордыбьевым, оставаясь абсолютно одиноким в ветреном луговом просторе — ах, это незабывающееся вычурное сравнение: *как мысль в мирозданье!* Тогда отчего-то явилась моя первая возлюбленная и отчего-то я решил, что она, Наташа Жильцова, — и з м о е г о р е б р а... И именно тогда подумалось о Ларе, как о вероятном «втором ребре»...

Господи, как же всё удивительно в Твоём мире! Как необъяснимо! Лара-то, оказывается, не моё «второе ребро», а Базлыкова, — и ведь это вполне логично, вполне естественно...

Впрочем, ныне я не совсем так думаю. Прежде всего я понял, что не бывает «второго ребра», как и третьего, четвёртого... седьмого! Истинно только п е р в о е: в этом Божественный замысел! И потому истинная любовь — единственна в жизни! Да, любовь всегда единственна, неповторима, непреходяща... порой трагична, печальна... А всё остальное — *страсти!* Сильные, безумные, амбициозные, которые когда-то всё же утихают, кончаются... Но они постоянны в нашей жизни, как в небесах тающие, уплывающие облака, — лёгкий флирт, сентиментальный флёр... Вот это-то я испытывал к Ларе Крыльцовой в своём одиночестве...

Однако самое р а з у м н о е — самое обыденное, самое привычное, самое бытовое — совместная семейная жизнь, чего, кстати, жаждала женщина *бальзаковского возраста* Лариса Григорьевна Крыльцова, бросившаяся спасать из пьяной тьмы Николая Базлыкова. Конечно, потому, что уже испытала подобную горькую беду (спившийся муж), и, понятно, ради осиротевших детей подруги, нуждающихся в присмотре и ласке. Но, если

быть до конца откровенным, то и ради собственной обновлённой жизни, о которой втайне мечтала...

Нет, притча о «втором ребре» — не заповедь божественная, а та в о л я, которую дарует Господь каждому из нас: мол, живи, как знаешь, — по своему усмотрению...

Между прочим, я с тихой надеждой думаю о Ларе и о Николае. Для меня они остаются незабываемыми: душевно близкими и, в общем-то, нравственно чистыми. В своих одиноких раздумьях я лишь об одном беспокоюсь: как бы не открылась горькая правда о гибели Ольги, как бы побыстрее зарубцевалась болезненная рана. Жизнь ведь продолжается...

Ну вот, а теперь опять об Ордыбьеве: олигарх продолжает благоволить к Базлыкову. Думаю, не только по национальному признаку. Он ценит в нём энергию, организованность, и, конечно, верность данному слову. Но Базлыков всё же сломленный им человек: настоящие сила и мужество Николая Рустемовича остались в армии, там, где он умел вести за собой. А на гражданке он не выдержал испытаний... Конечно, он всё ещё пытается сохранять достоинство, держаться независимо, но ведь это очень не просто. Особенно с властным Ордыбьевым... Возможно, Лара сумеет стать ему опорой...

А пока олигарх остаётся подчёркнуто внимателен к *штырю-антиквару*, и даже заботлив — в системе координат собственной выгоды: помог ему победить на выборах в городскую думу, продвинул в заместители главы Городецкой администрации. Понятно, на этом месте Базлыков намного полезнее Ордыбьеву, чем в «бункере» автозаправки. Но поэт Счастливов не желает этого признавать. В разговоре со мной он недовольничал в адрес Базлыкова, которого недолюбливает, подобно Силкину, причём, как и тот, беспричинно. Славик восклицал:

«Представляешь, к этому сапогу нынче не подступишься! Зазнался Штырь! Неведомо что из себя корчит. Ему бы руки целовать, в ноги кланяться Мухаммеду Арсановичу, а он перед ним умничает, достоинство выпячивает! Будто и в самом деле независимая фигура! Сапог! Сапог в смятку...»

Недовольничал Счастливов и Ларой; говорил о ней с обидчивым раздражением, недоброжелательно:

«Надо же, вознеслась! Тоже себя в первые леди определила! С проектами носится! По преобразованию культурно-массовой работы, ха-ха... А впрочем, она этому зазнавшемуся сапогу пара. Да! да! пара она ему, пара! Ты хоть знаешь, что они поженились? Нонече-то пузатая ходит! Слава аллаху, что у меня с ней ничего не получилось! А то, представляешь, какой грандиозный скандал она мне устроила бы?!»

Кстати, и сам Вячеслав *скоропостижно* женился. И на ком же вы думаете? Не поверите, потому что тоже вполне естественно для эпатажного поэта: на младшей дочери Силкина Елене, вернувшейся наконец-то из Кембриджа и, конечно, в облике истинной английской леди. Славик тут же протрубил, что обрёл своё «законное и единственное счастье». Ну, дай-то Бог Счастливову быть счастливым!

У Вячеслава нынче грандиозные планы. Впрочем, он никогда не страдал отсутствием оных. Он решил ринуться в политику, как и Базлыков. Уже готовится к избирательной кампании, но не в городскую, а в областную думу.

«А там, глядишь, — не преминул похвастаться неуёмный Славик, — и в ферзи прорвусь. Понимаешь, есть мнение попробовать попасть в Госдуму. Знаешь ли, мне ведь давно уже большая политика не чужда. Согласись, а? А мой патриотический имидж ныне тому порукой. Тебе признаюсь: я ведь сам чувствую, что созрел войти во власть. Разве я хуже других? Скажи: что ты думаешь об этом?!»

Я ответил ему обтекаемо, потому что попросту был удивлён такому повороту в его амбициозных устремлениях. А самому же с тоской подумалось: нет, конечно, не хуже он других, но и не лучше. Он — т а к о й ж е, как все нынешние: безидейный себялюбец, озабоченный только личным успехом. А на страну, на Россию, на народ русский *нынешнему* Вячеславу наплевать...

Часто думаю и об Ордыбьеве, который властной рукой теперь плетёт политическую паутину, протягивая нити к Рязани, Москве и дальше — в Европу... Неужели дотянется до скалистых берегов Атлантики, куда когда-то устремлялся Батый?.. Что ж, олигархи безмерно честолюбивы, и Ордыбьев не отступит от своей мечты о халифате, от своих Великих Целей.

IV

Ну а что я?.. в самом деле, я-то что?

Всё пребываю с неуспокоенной душой, в волнительных поисках, которые мне кажутся судьбоносными. До сих пор заботят дела, неподвластные ни моим силам, ни моим возможностям. И всё никак не могу уgomониться, смирить гордыню; и никак не найду иных забот, чтобы пришло спасительное успокоение, чтобы новый свет наполнил душу.

Недавнее лето провёл вблизи Сергиева Посада, который ныне считают «православной столицей». Часто бывал в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Сюда стекаются тысячи богомольцев: паломников и просто страждущих людей — за утешением, просветлением, исцелением водой святого источника.

Однажды долго стоял у Накладезной часовни. Там, под шатровой сенью над крестом, куда поступает святая вода, как всегда кучились люди. Я испытывал удивительную неразделённость с этой толчеёй, с этими разноликими, разномастными прихожанами разных возрастов: от едва научившихся ходить до едва передвигающихся. Все стремились получить облегчение в своих скорбях или болезнях, и многие зачерпывали воду прямо из кладезного бассейна ковшом ладони, тут же выпивали, убеждённые, несомневающиеся в её целебности.

Думалось мне о том, что после 1917-го года большевики почти отлучили народ русский от Церкви, но после 1991-го переродившиеся их наследники второпях, скопом бросили народ на произвол судьбы, как бы вернули в церковное лоно, а сами, алкая, ринулись рьяно к Мамоне...

И вот опять на наших просторах вереницы паломников, и даже калик переходящих; и опять *православная Русь*, по крайней мере, часть её, кочует по святым местам в поисках правды, справедливости; и опять молитвенно просит заступничества, возделённо ждёт царя-батюшку или ищет вождя-мессию... И виделась мне во множественных очах — то умильно благостных, то истово сверкающих, то смиренных, то искрящихся нетерпением единственная мольба: «Дай, Господи!.. дай народу русскому!.. дай прозреть!.. силу духа дай!.. чудо исцеления!..»

В Троицком соборе, где почти шестьсот лет покоится рака со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского, нескончаем поток православных. Ежедневно — и в будни, и в праздники — с раннего утра и до позднего вечера здесь совершаются молебны с акафистом во славу великого заступника Земли Русской перед престолом Божиим.

Нередко я подолгу задерживался в лампадно-свечном полумраке поколениями намоленного храма, особенно перед иконой Живоначальной Троицы, слушая изумительное псалмопение, и в счастливом удивлении наблюдал как велико число молящихся, как страстно, как волнительно они сосредоточены, прикладываясь к святым мощам Преподобного...

И сам я был строго сосредоточен, скуп в своих мыслях. Прикрывая глаза, в яви видел коленнопреклонных воинов во главе с великим князем московским Димитрием Иоанновичем. Все они — младшие князья, воеводы, дужинники — прибыли в Троицкую обитель за святым благословением на решительную битву с полчищами Мамаю. И, воодушевляя воинство, угодник Божий Сергей говорил, обращаясь к великому князю: *«Иди небоязненно! Господь поможет тебе на безбожных врагов! Победиши супостаты твоя...»*

Здесь, в церкви Живоначальной Троицы впервые прозвучал клич, внятный каждому русскому сердцу: **за веру и Отечество!**

... Через двенадцать дней на поле Куликовом между Непрядвой и Доном состоялась грозная битва, срок которой чудесным образом прозрел преподобный Сергей. И потому в далёкой обители коленнопреклоненные монахи вместе со своим святым игуменом возносили Богу молитвы за успех праведного, судьбоносного дела.

В одной из старых святоотеческих книг написано о Сергии так: *«Телом стоял он на молитве во храме Пресвятой Троицы, а духом был на поле Куликовом, прозревал очами веры все, что совершается там. Он, как очевидец, поведал предстоявшей братии о постепенных успехах нашего воинства; от времени до времени он называл павших героев по имени, сам приносил за них заупокойные молитвы и повелевал то же делать братии. Наконец он возвестил им совершенное поражение врагов и прославил Бога, поборающего русскому оружию».*

Золотоордынцы люто ненавидели Сергия. Безбожная, дикая орда чуяла, что Русь возродится Православием, то есть благодарью Божьей! Мстительный хан Едигей во время очередного нашествия, уже после смерти и Дмитрия Донского, и Сергия Радонежского, дотла выжег Троицкую обитель. Но она вскоре восстала из пепла! Воскресла, как и вся Русь-Россия...

И вот у раки преподобного Сергия, во мне звучало — чётко и твёрдо, как метроном, повторяясь бесщётно:

Иди необязанно — за Веру и Отечество!!

Господь поможет — на безбожных врагов!

Победиши — супостаты твоя!

И, молясь в отчем храме Живоначальной Троицы, я сознавал то, что ранее — до глубины, до сердцевины — не ведал: победа на Куликовом поле была и остаётся величайшим событием в русской истории. Россия — величественная, единая — начиналась здесь, в святой обители, с провидчества Богоносного старца...

Неустанно вопрошал и о себе: каков мой-то путь?.. для чего я-то уготован?.. Наконец мне ответилось — просто и ясно: *делай то, что всегда делал.*

И вот я вновь твержу, а в целом уже который год, — повторяю и вновь повторяю всем и всюду, однажды услышанную в провидческом сне фразу:

«Россия спасётся, но только русским будущим».

И я заклинаю: «Верьте! Верьте! В себя верьте!»

Но пока на Русской Земле меня никто и нигде не услышал.

2002 г.